

Посвящается Дж. Фр.

Королевская взбучка

Королевская взбучка. Фло часто этим грозила. Ты у меня получишь королевскую взбучку.

Слово «королевская» рокотало у нее на языке, обретая особое коварство. Розе обязательно нужна была картинка, пускай нелепая, и эта нужда была сильнее осторожности. Поэтому, вместо того чтобы испугаться, она задавалась вопросом: как взбучка может быть королевской? В конце концов ей представилась обсаженная деревьями аллея, парадно одетые зрители, белые кони и черные рабы. Кто-то становился на колени, и брызгала кровь, словно реяли алые стяги. Дикое и вместе с тем великолепное зрелище. Во взбучках, которые происходили на самом деле, не было ни капли благородства. Одна Фло пыталась внести в происходящее некую торжественность, сожаление о неприятной, но неизбежной процедуре. А Роза и ее отец очень быстро теряли лицо.

Королем королевских взбучек был отец. Фло не умела так, как он: она могла шлепнуть или отвесить затрещину, думая при этом о чем-то другом и приговаривая: «Не лезь не в свое дело» или «Чтоб я не видела у тебя этой наглости на лице».

Они жили в задней части лавки в городке Хэнрэтти, расположенном в провинции Онтарио. Вчетвером: Роза, отец, Фло и Брайан, младший единокровный брат Розы. Лавка на самом деле была жилым домом — родители Розы когда-то давно, после

своей свадьбы, купили его и открыли мастерскую по обивке и ремонту мебели. Обивкой занималась мать Розы. Роза, по идее, должна была бы унаследовать от обоих родителей умелые руки, хорошее чувство материала и глаз на лучший способ починки. Но не унаследовала. Она была неуклюжа, и если что-то - ломалось, она старалась побыстрее замести обломки и выбросить.

Мать Розы умерла. Однажды после обеда она сказала отцу Розы: «У меня какое-то странное ощущение, не могу описать. Как будто у меня в груди крутое яйцо, прямо в скорлупе». Еще до вечера она умерла. У нее оказался тромб в легком. Роза в то время была еще младенцем в колыбели и, конечно, ничего такого не помнит. Эту историю она услышала от Фло, которой рассказал отец. Вскоре появилась сама Фло — чтобы заботиться о Розе в колыбельке, выйти замуж за отца Розы и открыть бакалейную лавку в гостиной дома. Розе, не знавшей иного дома, кроме лавки, и иной матери, кроме Фло, шестнадцать месяцев, которые ее родители прожили в доме, казались иной эпохой — эпохой размеренной жизни, нежности, церемонности в укладе, с мелочами, говорящими о достатке. Она думала так только из-за купленных когда-то матерью подставочек для яиц — с узором из виноградных лоз и птиц, изящным, будто нанесенным красной тушью; он уже начал стираться. Больше от матери не осталось ничего — ни книг, ни одежды, ни фотографий. Вероятно, отец от них избавился — а если не он, так Фло. В единственной

истории о матери Розы, которую Фло рассказывала Розе, звучала какая-то странная зависть. Фло любила подробности чужих смертей: что человек сказал, как протестовал или как пытался сбежать со смертного одра, как ругался или смеялся (некоторые ругались или смеялись). Но Фло так пересказывала слова матери о крутом яйце, что они звучали очень глупо: как будто мать Розы и вправду верила, что человек может целиком проглотить яйцо в скорлупе.

Отец занимался ремонтом и реставрацией мебели в сарае за магазином. Он плел спинки и сиденья стульев, восстанавливал другую плетеную мебель, заделывал трещины, ставил на место отвалившиеся ножки — он был чрезвычайно искусным мастером и брал сущие гроши. Для него это был источник гордости: он любил поражать людей прекрасной работой за умеренные и даже смешные деньги. Может быть, во время Великой депрессии люди и не могли платить больше, но он продолжал вести дела подобным образом и во время войны, а потом и в годы послевоенного процветания, пока не умер. Он никогда не обсуждал с Фло свои расценки или кто из заказчиков сколько ему должен. Когда он умер, ей пришлось отпереть сарай и снять со страшноватых крюков, что служили ему картотекой, охапки клочков бумаги и рваных конвертов. Причем многие из них оказались даже не счетами и не расписками, а заметками о погоде или о том, что происходит в саду, — о чем попало, что отцу пришло в голову записать.

Ели молодую картошку 25 июня. Рекорд.

«Темный день» в 1880-х, ничего сверхъестественного.

Облака пепла от лесных пожаров.

16 авг. 1938. Сильная гроза веч. Молния уд. в пресвит. церковь в Тэрберри. Воля Божия?

Ошпарить клубнику, чтобы убрать кислоту.

Все существующее — живое. Спиноза.

Фло сочла Спинозу каким-то овощем, который отец решил растить на огороде, вроде брокколи или баклажанов — он часто пробовал что-нибудь новое. Она показала этот клочок бумаги Розе и спросила, не знает ли та, что это за спиноза такая. Роза знала или, по крайней мере, имела представление — в то время она была уже подростком, — но ответила, что не знает. В этом возрасте ей казалось, что она не вынесет больше ни единой новой подробности об отце или Фло, и потому она в страхе и смущении отвергала всякое новое открытие.

В отцовском сарае была печка и множество неструганных полок, заставленных жестянками с краской и лаком, шеллаком и скипидаром и банками, где отмокали кисти. Тут же рядом стояли бутылки с темной липкой микстурой от кашля. Зачем отец, который постоянно кашлял, нюхнув газу на войне (в годы Розиного детства эту войну называли не Первой, а Последней), каждый день дышал парами краски и скипидара? В ту эпоху такие вопросы звучали реже, чем в наши дни. На скамье у лавки Фло целыми днями просиживали старики, живущие по соседству, — сплетничали, в теплую погоду дремали. Некоторые из них тоже все время кашляли. На самом деле они умирали, медленно и незаметно для окружающих, от болезни, которую тогда без особой скорби называли

«литейной болезнью». Эти старики всю жизнь проработали на литейном заводе, расположенном в городке, а теперь сидели неподвижно, с изможденными желтыми лицами, кашляя, хихикая или раздражаясь бессвязной похабщиной в адрес проходящих мимо женщин или девушки, едущей на велосипеде.

Однако из отцовского сарая доносился не только кашель, но и речь — непрерывное бормотание, обычно самую чуточку ниже того уровня громкости, на котором удается разобрать слова. Бормотание замедлялось, когда отцу попадалась особо сложная работа, и несло бодрым потоком, если отец делал что-нибудь совсем простое, вроде ошкуривания или покраски. Время от времени из сарая вылетали отдельные разборчивые слова, отчетливо и абсурдно повисая в воздухе. Когда отец это понимал, он принимался для маскировки кашлять, а затем воцарялась необычная настороженная тишина.

«Макароны, пеперони, Боттичелли и бобы...»

Что это могло означать? Роза повторяла отцовские слова про себя. Отца она спросить не могла. Человек, произнесший эту фразу, и человек, что жил рядом с Розой как ее отец, были двумя разными людьми, хотя явно занимали одно и то же место в пространстве. Показать, что знаешь о существовании личности, которой здесь на самом деле нет, — чрезвычайно дурной тон, непростительный поступок. Но Роза все равно болталась у сарая и подслушивала.

«Башни гордые», — услышала она однажды.

«Все башни гордые, дворцы, палаты...»¹

Эти слова оглушили Розу, словно ее хлопнули рукой по груди, — не больно, но ошарашивает. Ей пришлось обратиться в бегство, убраться подальше. Она знала, что услышанного достаточно, и к тому же что, если он ее застанет? Будет просто ужасно.

В этом было что-то общее со звуками из туалета. Фло скопила денег на то, чтобы оборудовать уборную в доме, но единственным местом, куда ее удалось приткнуться, оказался угол кухни. Дверь была плохо пригнана, стены картонные. В результате нельзя было даже кусок туалетной бумаги оторвать или перенести вес тела с одной ягодицы на другую, чтобы тебя не услышали сидящие, беседующие или едящие на кухне. В результате все домашние в подробностях изучили чревоуветствие друг друга — не только бурно протекающие процессы, но и нежнейшие вздохи, урчания, заявления и жалобы. Вся семья была крайне чопорна. Поэтому никто никогда вроде бы не слышал и не слушал и тем более никогда не комментировал. Человек, издающий звуки в туалете, не имел ничего общего с человеком, который оттуда выходил.

Они жили в бедной части городка. Был город Хэнрэтти, а был еще Западный Хэнрэтти — их разделяла река. В Хэнрэтти иерархия общества начиналась с врачей, дантистов и адвокатов, а в самом низу стояли рабочие литейного завода, фабричные рабочие и ломовые извозчики. В Западном Хэнрэтти иерархия начиналась с фабричных и заводских рабочих, а в самом низу были большие неимущие

семьи контрабандистов спиртного, проституток и неудачливых воров. Роза считала, что ее семья стоит враскоряку — одна нога на одном берегу, другая на другом. Что они не принадлежат полностью ни к одной из двух частей города. Но это была неправда. И их лавка, и сами они находились в Западном Хэнрэтти. Через дорогу от них была кузнечная мастерская — она стояла заколоченной примерно с начала войны — и дом, в котором когда-то располагалась другая лавка. В окне на фасаде до сих пор висела вывеска: «Чай „Салада“» — хозяева, видно, гордились ею как интересным украшением, хотя чая здесь давно уже не продавали. Тут же был тротуар — такой кривой и потрескавшийся, что катание на роликах исключалось, хотя Роза мечтала о роликовых коньках и часто представляла себе, как проносится по улице, модная и ловкая, в юбочке из шотландки. Здесь же стоял единственный уличный фонарь городка, подобный жестяному подснежнику; на этом городские удобства иссякали, и дальше шли проселочные дороги и заболоченные низины, палисадники с кучами мусора и дома чрезвычайно странного вида. Такой вид им придавали попытки предотвратить их полное физическое разрушение. Владельцы некоторых домов даже и не пытались ничего делать. Такие дома были серые, они прогнили и покосились, сливаясь с фоном из поросших кустами лощин, лягушачьих прудов, камышей и крапивы. Чаще, однако, владельцы пытались чинить дома — для этого в дело шли рубероид, малочисленные новые

черепицы, жестяные листы, расплющенные молотком обрезки печных труб и даже картон. То было, конечно, в предвоенные годы, которые потом считались эпохой легендарной бедности. Но Роза помнила из тех дней только низко расположенные вещи — грозного вида муравейники и деревянные ступеньки, а еще — прикрытый облаками, интересный, загадочный свет вселенной.

Сначала между Фло и Розой было долгое перемирие. Характер Розы рос и развивался, как колючий ананас, но медленно и тайно закоснелая гордость и скептицизм брали верх, и выходило что-то такое, что удивляло даже и саму Розу. Пока Роза была еще мала для школы, а Брайан — еще в колясочке, Роза все дни проводила в лавке с Фло и сводным братом: Фло сидела на высоком табурете за прилавком, а Брайан спал у окна. Роза стояла на коленях или лежала на животе на широких скрипучих досках пола и рисовала цветными мелками на кусках оберточной бумаги, которые Фло сочла слишком изодранными или неровно отрезанными, а потому непригодными для того, чтобы заворачивать в них товар.

Покупали у них в основном те, кто жил по соседству. Заглядывали и деревенские по пути домой из города, и изредка — жители Хэнрэтти, зашедшие на другой берег. Некоторые местные обитатели все время маячили на главной улице, переходя из одного магазина в другой, словно их долгом было постоянно выставлять себя напоказ, а их правом — чтобы их

всюду любезно привечали. Бекки Тайд, например.

Бекки Тайд входила в лавку к Фло, вскарабкивалась на прилавок и усаживалась, раздвигая товар, так, чтобы оказаться поближе к открытой жестянке песочного печенья с джемовой начинкой.

— Вкусное? — спрашивала она у Фло, нагло брала одно и принималась жевать. — Когда ты уже возьмешь нас на работу, а, Фло?

— Ты бы лучше в мясную лавку устроилась, — безмятежно отвечала Фло. — В мясную лавку, к своему брату.

— К Роберте? — восклицала Бекки с театральным презрением. — Ты думаешь, я дойду до такого?

Брата Бекки, владельца мясной лавки, звали Роберт, но часто называли Роберта — очень уж он был кроткий и робкий. Бекки Тайд смеялась. Смеялась она громко и шумно, словно рядом набирал обороты мотор.

Бекки — карлица, громкоголосая, с большой головой, с бесполой заливчатской походкой, как у марионетки или человечка-талисмана, болтающегося у ветрового стекла. Еще у нее был красный бархатный берет. Из-за искривленной шеи Бекки держала голову набок, всегда глядя снизу вверх и в сторону. Туфли у нее были маленькие, начищенные, на высоком каблуке, как у настоящей дамы. Роза смотрела на туфли, потому что вся остальная Бекки — этот смех и эта шея — ее пугали. От Фло Роза знала, что Бекки Тайд в детстве переболела полиомиелитом, и потому у

нее кривая шея и она не выросла как положено. Очень трудно было поверить, что Бекки не родилась такой, что она когда-то была нормальной. Фло говорила, что Бекки не чокнутая — у нее не меньше мозгов, чем у кого другого, просто она знает, что ей все сойдет с рук.

— Ты же знаешь, что я раньше тут жила? — спрашивала Бекки, вдруг замечая Розу. — Эй, привет, как-тебя-звать! Я раньше тут жила, скажи, Фло?

— Если и жила, это было еще до меня, — отвечала Фло, словно бы ничего не зная.

— Еще до того, как тут стала помойка, уж извините. Мой отец построил тут дом и бойню тоже, и еще у нас был плодовый сад на пол-акра.

— В самом деле? — отзывалась Фло, как бы восхищаясь, с фальшивым удивлением и даже подобострастием. — А зачем же вы тогда отсюда уехали?

— Я же говорю, тут стала помойка, — отвечала Бекки.

Она могла засунуть в рот печенье целиком, если ей хотелось, — тогда щеки у нее раздувались, как у жабы. Никаких подробностей она никогда не рассказывала.

Но Фло, конечно, все равно знала, потому что знали все. Все знали и этот дом из красного кирпича, с вынесенной верандой, и плодовый сад — то, что от него осталось, заваленное обычным хламом: автомобильными сиденьями, стиральными машинами, пружинами от матрасов и прочим

мусором. На фоне такой разрухи и хаоса дом никогда не выглядел зловеще, несмотря на то что в нем творилось когда-то.

По рассказам Фло, старик-отец Бекки был совсем иного рода мясником, нежели ее брат. Англичанин, со скверным характером. И на Бекки, с ее злым языком, он тоже был не похож. Он вообще редко открывал рот. Скряга и семейный тиран. Когда Бекки переболела полиомиелитом, он не позволил ей вернуться в школу. Ее редко видели вне дома и никогда — за пределами двора. Отец не хотел, чтобы люди злорадствовали. Так сказала Бекки на суде. К этому времени ее мать умерла, а сестры вышли замуж. Дома остались только Бекки и Роберт. Люди останавливали Роберта на улице и спрашивали: — Как там твоя сестра? Ей лучше стало?

— Да.

— Она по дому управляется? Готовит вам ужин?

— Да.

— А что твой отец? Он к ней по-хорошему?

Слухи гласили, что отец их бил — всех детей и жену тоже, но Бекки теперь бил сильнее из-за ее уродства. Кое-кто считал, что и уродство Бекки — дело рук отца (они не понимали, что такое полиомиелит). Сплетни росли и развивались. Теперь оказалось, что Бекки держат подальше от людских глаз, потому что она беременна и отец ребенка — ее собственный отец. Потом стали говорить, что Бекки родила, а от ребенка избавились.

— Что?

— Избавились. Так тогда говорили: «Сходи к Тайду за бараньими котлетками, уж больно они у него нежные!» Но, скорей всего, ввали, — с сожалением добавила Фло.

Слыша это сожаление и осторожность в голосе Фло, Роза иногда вздрагивала и отрывалась от окна, за которым ветер, забравшись в прореху, трепал изо всех сил полотняный навес. Когда Фло рассказывала — а это была не единственная из историй в ее репертуаре и даже не самая мрачная, — она склоняла голову набок и лицо у нее становилось мягкое, задумчивое, оно затягивало и одновременно предостерегало.

— Вообще напрасно я тебе все это рассказываю.

Затем рассказ продолжался.

Трое молодых лоботрясов, которые обычно околачивались на извозчиьем дворе, сговорились — или же их уговорили более влиятельные и уважаемые жители города — и решили выпороть старика Тайда извозчиьим кнутом для блага общественной нравственности. Лица они замазали сажей. Им выдали кнуты и по кварте виски на нос для храбрости. Это были: Джелли Смит, игрок в тотализатор и пьяница; Боб Темпл, бейсболист и силач; и Котелок Неттлтон, который возил грузы на подводе, принадлежащей городу, — прозвище он получил за шляпу-котелок, который носил как из тщеславия, так и для смеха. (Кстати сказать, в дни, когда Фло рассказывала эту историю Розе, Котелок по-прежнему работал ломовым извозчиком; он сохранил если и не шляпу, то прозвище, и его часто видели на людях — почти так

же часто, как Бекки Тайд; он доставлял мешки с углем, и от этого лицо и руки у него были черные. Это должно было бы напомнить людям историю с мясником, но не напоминало. Настоящее и прошлое — мелодраматически преступное былое из рассказов Фло — никак не стыковались, во всяком случае для Розы. Люди настоящего не вмещались в прошлое. Сама Бекки, городская чудачка и любимица публики, безвредная злючка, никак не могла быть тем же человеком, что пленница мясника, дочь-калека, белое пятнышко в окне: немая, избиваемая, насильно оплодотворенная. Так же и дом, в котором все это происходило, никак не вязался с теперешним домом — их общность была чисто формальной.) Парни набрались духу для порки и пришли к дому Тайда поздно вечером, когда семья уже легла спать. У парней было ружье, но они стали стрелять в воздух во дворе и истратили все патроны. Они начали орать, чтобы мясник вышел, и колотить в дверь; в конце концов они ее выбили. Тайд решил, что это грабители пришли за его деньгами, завернул в носовой платок несколько купюр и послал Бекки с платком вниз: может быть, надеялся, что вид маленькой кривошеей девочки, карлицы, тронет или, наоборот, испугает пришельцев. Но их это не удовлетворило. Они поднялись наверх и выволокли мясника в ночной рубашке из-под кровати. Они вытащили его на улицу и поставили босиком на снег. Было четыре градуса ниже нуля — этот факт потом установили в суде. Парни хотели устроить показательный суд над

мясником, но не смогли вспомнить, как это делается. Поэтому они стали его бить и били, пока он не упал. Они орала на него: «Ты мясо!» — и продолжали бить, пока его ночная рубашка и снег, на котором он лежал, не покраснели. Сын мясника, Роберт, говорил потом на суде, что не смотрел на избиение. Бекки показала, что он сначала смотрел, но потом убежал и спрятался. Сама она смотрела с начала до конца. Она видела, как парни наконец ушли и как ее отец медленно, оставляя кровавый след, тащился по снегу двора и потом по ступеням на веранду. Она не вышла ему помочь и не открыла входную дверь, пока мясник до нее не дополз. Почему, спросили ее на суде, и она ответила, что не вышла, потому что была в одной ночной рубашке, а дверь не стала открывать, чтобы не напустить холоду.

Затем старик Тайд вроде бы оправился. Он послал Роберта седлать лошадь, а Бекки заставил нагреть воды для мытья. Помывшись, он оделся, взял все свои деньги и, не сказав ни слова детям, уехал на санях в Белгрейв, где оставил лошадь привязанной на холоде и сел на утренний поезд в Торонто. В поезде он вел себя странно — стонал и ругался, словно пьяный. Через день его подобрали на улице в Торонто — он был в жару и бредил — и положили в больницу, где он и умер. Все деньги так и были при нем. В качестве причины смерти указали пневмонию.

Но, рассказывала дальше Фло, власти пронюхали, что случилось. Дело дошло до суда. Все трое виновных получили большие тюремные сроки. Это была комедия, сказала Фло. Не прошло и года, как все

трое были на свободе, им выхлопотали помилование, их уже ждали рабочие места. А почему же? Да потому, что слишком много важных шишек было во всем этом замешано. А Бекки и Роберт как будто бы и не хотели искать справедливости. Они унаследовали неплохие деньги. Купили дом в Хэнрэтти. Роберт взял на себя лавку отца. Что до Бекки, то ее заточение кончилось и она стала вести активную светскую жизнь.

Вот и все. Фло прервала рассказ, будто крышку захлопнула — будто ее от этой истории тошнило. В ней все показали себя не лучшим образом.

— Только подумать, — говорила Фло.

Самой Фло в то время было лет тридцать с небольшим. Молодая. Одевалась она, впрочем, точно так, как могла одеваться женщина в пятьдесят, шестьдесят или даже семьдесят лет: домашние платья-халаты из набивного ситца, свободные не только в поясе, но и в проймах и горловине, и фартуки с нагрудником, тоже из набивного ситца, которые она снимала, выходя из кухни в лавку. Тогда это была обычная одежда бедной, но не нищей женщины; для Фло это был также в каком-то смысле сознательный выбор, выражающий презрение. Фло презирала женские брюки, презирала людей, пытающихся одеваться стильно, презирала помаду и завивку-перманент. Черные волосы она стригла «под горшок», оставляя ровно такую длину, чтобы можно было заправлять за уши. Она была высокая, но тонкокостная, с узкими запястьями и плечами, маленькой головой и бледным, веснушчатым

подвижным, обезьяньим личиком. Она могла бы быть хорошенькой — бледная, черноволосая, хрупкая красота, плод усилий, — будь у нее на то желание и возможности. Но Роза поняла это лишь потом. Впрочем, для такого Фло должна была бы быть совершенно другим человеком, — в частности, ей пришлось бы отучиться строить рожи себе самой и другим.

Первые воспоминания Розы, относящиеся к Фло, содержали в себе необыкновенную мягкость и жесткость. Мягкие волосы, длинные мягкие бледные щеки, мягкий и почти невидимый пушок перед ушами и на верхней губе. Острые колени, на которых так жестко было сидеть, и плоская грудь.

Когда Фло пела:

Здесь на деревьях растут сигареты,
Слышали, может, про чудо про это?
Здесь лимонадные реки текут,
Яйца вкрутую куры несут...² — Роза вспоминала о
прежней жизни Фло. До замужества Фло работала
подавальщицей в кофейне на центральном вокзале в
Торонто; она ездила с подружками, Мэвис и Айрин,
гулять на Центральный остров, ее преследовали по
темным улицам мужчины, и она умела управляться с
телефонами и лифтами. В голосе Фло Розе слышалась
типичная для жителя большого города безрассудная
привычка к опасности, готовность отбрить кого угодно,
не выпуская жвачки изо рта.

А когда она пела:

И тихо-тихо подошла,
И тихо рядом встала,
И говорит ему: «Беда,
Ты умираешь, малый!» —

Роза думала еще об одной жизни Фло — жизни,

лежащей еще глубже, раньше, заполненной людьми-легендами: в этой жизни были Барбара Аллен³, отец Бекки Тайд и разные другие преступления и злоключения, все сбитые в одну кучу.

Королевские взбучки. Как они начались?

Представьте себе весенний субботний день. Листья еще не распустились, но люди уже оставляют нараспашку двери, чтобы в дома лился солнечный свет. Вороны. Канавы полны талой воды. Такая погода вселяет надежду. По субботам Фло часто оставляла Розу присматривать за лавкой — это было несколько лет назад, когда Розе было лет девять-двенадцать, — а сама шла по мосту в Хэнрэтти («в город», как это у них называлось), чтобы там походить по магазинам и послушать, что люди говорят. К этим людям относились, например, миссис Дэвис, жена адвоката, миссис Хенли-Смит, жена англиканского священника, и миссис Маккей, жена ветеринара. Придя домой, Фло за ужином передразнивала их: высокопарные реплики, манерные голоса. В ее исполнении они казались чудовищами: монстрами глупости, тщеславия и самодовольства.

Закончив прогулку по магазинам, Фло заходила в кофейню при гостинице «Королевская» и съедала мороженое. Когда она возвращалась домой, Роза и Брайан обязательно допытывались, какой сорт она сегодня ела, и бывали очень разочарованы простым ананасным или карамельным, но счастливы, если это оказывался какой-нибудь сложный десерт — «Жестяная крыша» или «Черное и белое». После

мороженого Фло выкуривала сигарету. У нее с собой были уже скрученные, чтобы не крутить прямо на людях. Курение было единственным ее занятием, которое она, заметив у любого другого, назвала бы показухой. Эта привычка осталась у нее с тех пор, когда она работала, — с Торонто. Фло знала, что, куря, напрашивается на неприятности. Однажды к ней прямо в гостинице «Королевская» подошел католический священник и поднес зажигалку к сигарете, которую Фло не успела раскурить спичками. Она поблагодарила священника, но в разговор с ним не вступила — а то вдруг он попытается обратить ее в свою веру.

Другой раз, на пути домой, она увидела у моста — у городского конца моста — парнишку в синей куртке. Он вроде бы смотрел на воду. Лет восемнадцать-девятнадцать. Фло его не знала. Тощенький дохляк на вид — с ним явно что-то было не так, Фло это сразу поняла. Может, собрался топиться? Стоило Фло поравняться с ним, что бы выдумали он сделал? Повернулся к ней и распахнул куртку, а заодно с курткой и штаны. Замерз, должно быть, — день был такой зябкий, что Фло изо всех сил запахивалась в собственное пальто.

Увидев, что у парня в руке, Фло, по ее словам, поначалу подумала: что это он тут делает с колбасой?

Она могла такое сказать. Она преподносила это как искренность, а не шутку. По ее словам, она терпеть не могла, когда несут похабщину. Она часто выходила и кричала старикам, сидящим перед ее лавкой: — Ну-ка

не смейте сквернословить, а то я вас живо прогоню отсюда!

Итак, суббота. Фло почему-то не пошла «в город», а решила остаться дома и отскоблить пол на кухне. Может быть, от этого она не в духе. А может, она сегодня вообще не в духе — оттого ли, что покупатели не платят по счетам, или от весеннего брожения чувств. Ее борьба с Розой уже началась — уже идет словно целую вечность, как сон, уходящий далеко в другие сны, через холмы и дверные проемы, сводящий с ума многолюдьем и расплывчатостью, знакомый и ускользающий. Перед мытьем пола Фло и Роза вытаскивают из кухни все стулья, а также сложенные там запасы магазинных товаров — ящики с консервами, жестянки с кленовым сиропом, канистры с керосином, бутылки уксуса. Все это они выносят в дровяной чулан. Брайан, которому в это время лет пять или шесть, тоже помогает — таскает жестянки волоком.

— Да, — говорит вдруг Фло, обретая потерянную нить нашего рассказа, — кстати, о той гадости, которой ты научила Брайана.

— Какой гадости?

— А он, невинное дитя, все повторяет.

Выходя из кухни в дровяной чулан, надо спуститься на одну ступеньку. Ступенька покрыта ковром, таким изношенным, что Роза даже не помнит, какой на нем был узор. Брайан, таща жестянку, сдвигает ковер с места.

— Два Ванкувера, — тихо говорит она.

Фло уже вернулась на кухню. Брайан смотрит на Фло, потом опять на Розу, и Роза повторяет чуть громче, нараспев, подсказывая: — Два Ванкувера...

— ...в соплях! — подхватывает Брайан, не в силах удержаться.

— И две жопы...

— ...в хрусталях!

Вот она. Гадость.

Два Ванкувера в соплях!

И две жопы в хрусталях!

Роза выучила этот стишок много лет назад. Когда только что пошла в школу. Она тогда пришла домой и спросила Фло: — Что такое ванкувер?

— Город такой. Далёко отсюда.

— А если не город, то что?

— Что значит «если не город»? — уточнила Фло.

— Ну... как город может быть в соплях? — сказала Роза, приближая опасный момент, восхитительный момент, когда ей придется выложить все целиком.

«Два Ванкувера в соплях! / И две жопы в хрусталях!»

— Ну, ты у меня получишь! — завопила Фло во вполне предсказуемой ярости. — Еще раз повтори, и получишь хорошенько!

Роза не могла остановиться. Она нежно мурлыкала про себя это двустиие. Она пыталась произносить вслух только невинные слова, а другие — мычать под сурдинку. Дело было не только в запретных «жопах» и «соплях»: дело было в невозможном положении Ванкуверов среди хрусталей и соплей и в

невообразимости этих Ванкуверов. Роза видела «ванкуверы» мысленным взором — они представлялись ей чем-то вроде осьминогов, судорожно сокращающихся в кастрюле. Крушение здравого смысла, ликующий фейерверк безумия..

Недавно Роза вспомнила этот стишок и научила ему Брайана — просто чтобы посмотреть, подействует ли так же и на брата. Разумеется, стишок оказал точно такое же действие.

— Я тебя слышала! — кричит Фло. — Все слышала! И я тебя предупреждаю!

Верно, она предупреждает. Брайан принимает предупреждение к сведению. Он выбегает из дому через дверь дровяного чулана, чтобы заняться, чем его душа пожелает. Он мальчик — а значит, не обязан помогать, если ему не хочется. Он не обречен на вечную борьбу с домашним хозяйством. Впрочем, он тут и не нужен — Роза и Фло используют его только как оружие друг против друга и едва замечают, что он ушел. Они продолжают — не могут не продолжать, не могут оставить друг друга в покое. Даже если кажется, что им надоело, это значит всего лишь, что они сидят в засаде и разводят пары.

Фло приносит ведро, щетку, тряпку для пола и подушечку для коленей — грязно-красную, резиновую. Она принимается тереть пол. Роза сидит на кухонном столе — больше в кухне сидеть уже негде — и болтает ногами. Клеенка прохладная: Роза чувствует это кожей, потому что на ней шорты — прошлогодние, тесные и выгоревшие на солнце,

вытащенные из мешка с летней одеждой. Они чуть-чуть припахивают сыростью после зимнего хранения.

Фло ползает вниз — она трет пол щеткой и вытирает тряпкой. У нее длинные белые мускулистые ноги, сплошь покрытые сеткой вен, словно кто-то нарисовал карту рек химическим карандашом. В скрежете щетки о линолеум и в свисте тряпки слышится чудовищный накал, яростное отвращение.

Что они говорят друг другу? Это не важно на самом деле. Фло упоминает манеру падчерицы «умничать», ее грубость, неопрятность и заносчивость. То, что она постоянно добавляет работы другим, и ее неумение быть благодарной. То, что она развращает невинного Брайана. «Ты вообще никто, — говорит Фло и тут же: — Кем ты себя воображаешь?»

Роза опровергает ее слова и возражает — с ядовитейшей рассудочностью и кротостью, с хорошо сыгранной безмятежностью. Фло теряет свое обычное презрительное самообладание и сама начинает играть, словно актриса, удивительно страстно. Она заявляет, что принесла свою жизнь в жертву ради Розы. Увидела ее отца с обузой на руках, дочерью-младенцем, и подумала: что теперь делать этому человеку? И вышла за него замуж, и вот теперь ползает на коленках.

Тут звонит колокольчик — в лавку вошел покупатель. Поскольку ссора в разгаре, Розе не разрешают выйти обслужить его. Фло встает, со стоном стягивает фартук — впрочем, этот стон не

часть разговора, и Розе не разрешено разделить звучащее в нем негодование, — выходит в лавку и обслуживает покупателя. Роза слышит ее нормальный голос: — Да и пора уже! В кои-то веки!

Фло возвращается и снова надевает фартук, готовая вновь приняться за полы.

— Ты никогда ни о ком не думаешь, кроме себя! Никогда не думаешь обо всем, что я для тебя делаю.

— А я тебя никогда и не просила ничего для меня делать. Вот и не делала бы. Мне было бы только лучше.

Говоря это, Роза глядит прямо в лицо Фло и улыбается. Фло еще не опустилась на колени. Она видит улыбку, хватает половую тряпку, висящую на краю ведра, и швыряет в Розу. Возможно, она целилась в лицо, но тряпка падает Розе на ногу, и Роза ловит ее ступней, небрежно крутанув вокруг лодыжки.

— Ну все, — говорит Фло. — Наконец ты своего добились. Ну ладно же.

Роза смотрит, как Фло выходит в дровяной чулан, топает по чулану, на миг замирает в дверном проеме, где еще не успели повесить сетку от насекомых, а внешняя дверь стоит нараспашку, подпертая кирпичом. Фло зовет отца Розы. Она зовет его предостерегающим, зловещим голосом, словно против своей воли вынуждена подготовить его к плохим вестям. Вот сейчас он у нее узнает, что случилось.

Пол на кухне покрыт линолеумом с пятью или шестью разными узорами. Это обрезки и остатки, которые Фло добыла бесплатно и ловко пригнала

один к другому при помощи полосок жести и обойных гвоздиков. Сидя на столе в ожидании, Роза смотрит на пол — на увлекательную систему прямоугольников, треугольников и каких-то других геометрических фигур, название которых она пытается вспомнить. Она слышит, как возвращается Фло — через дровяной чулан, по мостку из скрипучих досок, положенных прямо на земляной пол. Фло тянет время — она тоже ждет. Они с Розой больше не могут продолжать битву своими силами.

Роза слышит, как в дом входит ее отец. Она застывает, по ногам пробегает дрожь, и Роза снова ощущает бедрами клеенку. Отец, которого оторвали от какой-то мирной, сосредоточенной работы, от слов, звучащих у него в голове, от самого себя, должен что-нибудь сказать. И он говорит: — Ну? Что у вас стряслось?

Начинает звучать другой голос — Фло. Богатый оттенками, полный боли, извиняющийся — как будто она изготовила его специально к случаю. Фло просит прощения у отца, что оторвала его от работы.

Она бы ни за что не стала этого делать, если бы Роза ее не довела. Каким образом довела? Нахальными ответами, наглостью и грязным языком. Если бы сама Фло осмелилась сказать такое собственной матери, отец ее с землей сровнял бы, она точно знает.

Роза пытается вклиниться в разговор, сказать, что это неправда.

Отец поднимает ладонь и говорит, не глядя на нее:

«Тихо».

Говоря, что это неправда, Роза имеет в виду, что не она начала этот разговор, что она лишь ответила, что Фло ее спровоцировала: по ее мнению, Фло сейчас откровенно лжет, передергивая события так, как ей удобно. Роза не упоминает другой факт, который ей также известен: на самом деле, что бы ни сказала и ни сделала Фло, что бы ни сказала и ни сделала сама Роза, это совершенно не важно. Важна борьба как таковая, а ее остановить нельзя, она не остановится, даже дойдя до того места, где они находятся сейчас.

У Фло грязные коленки, хоть она и подкладывала под них подушечку. У Розы на ноге еще висит половая тряпка.

Отец вытирает руки, слушая жалобы Фло. Он не торопится. Ему всегда нужно время, чтобы вникнуть в суть происходящего, он уже заранее утомлен и, может быть, вот-вот отвергнет роль, которую ему навязывают. Он не смотрит на Розу, а стоит ей шевельнуться или пикнуть, он останавливает ее жестом ладони.

— Ну, зрители нам тут не нужны, это уж точно, — говорит Фло, выходит в лавку, запирает ее и вешает в окне табличку: «Скоро вернусь».

Табличку сделала для нее Роза, тщательно вывела завитушки букв и рельефные тени красным и черным карандашом. Вернувшись на кухню, Фло захлопывает дверь, ведущую из лавки, потом — дверь на лестницу, потом — дверь в дровяной чулан.

От ее башмаков остаются следы на чистой мокрой

части пола.

— О, я не знаю, — говорит она. Эмоциональный накал в ее голосе явно спадает. — Я не знаю, что мне с ней делать.

Она ловит взгляд Розы, смотрит на свои колени и начинает яростно тереть их, размазывая грязь.

— Она меня унижает, — продолжает Фло, выпрямляясь. Вот оно, объяснение. — Она меня унижает, — со вкусом повторяет Фло. — Никакого уважения.

— Неправда!

— А ну, тихо! — говорит отец.

— Если б я не позвала твоего отца, ты бы так и сидела тут и лыбилась нахально! Что прикажешь с тобой делать?

Роза чувствует, что отец не полностью приемлет риторику Фло, что в нем поднимается некое замешательство, протест. Она ошибается и должна была бы понимать, что ошибается. То, что она знает — и он знает, что она знает, — никак ей не поможет. Он начинает заводиться. Он взглядывает на Розу. Взгляд поначалу холодный, вызывающий. Он информирует Розу о вынесенном приговоре и о безнадежности ее положения. Потом взгляд светлеет и начинает наполняться чем-то другим, как родник наполняется чистой водой, если убрать из него опавшие листья. Ненавистью и наслаждением. Роза это видит и знает. Может быть, это лишь описание гнева, — может быть, его глаза наполняются гневом? Нет. «Ненависть» — точное слово. И «наслаждение»

— тоже точное. Лицо отца размякает, меняется, молодеет, и он снова поднимает руку — теперь уже чтобы остановить Фло.

— Ладно, — говорит он, имея в виду, что она сказала уже достаточно и более чем достаточно, что эта часть разговора окончена и можно двигаться дальше. Он принимается расстегивать ремень.

Но Фло уже и без того замолчала. Ей, точно так же как и Розе, трудно поверить, что неотвратимое действительно должно случиться, что настает момент, когда обратно уже не повернуть.

— Ну я не знаю, может, не надо уж так строго. — Фло нервно перемещается по кухне, будто намереваясь открыть какой-то запасной выход для бегства. — Может, не надо ремнем? Неужели обязательно ремнем?

Отец не отвечает. Ремень неторопливо высвобождается. Рука сжимается вокруг подходящей точки. Так, ну-ка поди сюда. Отец подходит к Розе. Сталкивает ее со стола. Лицо, как и голос, неуместны. Отец, как плохой актер, переигрывает до гротеска. Он словно чувствует себя обязанным смаковать именно самую позорную и ужасную часть происходящего, настаивать на ней. Нельзя сказать, что он притворяется — что это игра и сам он ничего такого не чувствует. Это игра, и он все это чувствует. Роза знает — она все про него знает.

Гораздо позже она размышляла про убийства и убийц. Может быть, убийства доводятся до конца в том числе ради эффекта — чтобы доказать нечто

единственному зрителю, который уже не сможет ни с кем поделиться, сможет лишь осознать полученный урок, состоящий в том, что такое возможно, что ничего невозможного нет, что даже самая ужасная выходка оправданна и можно найти в себе чувства под стать ей?

Роза пытается смотреть не на отца и его ремень, а снова на пол — на ловко пригнанные геометрические фигуры, в которых есть что-то утешительное. Как может все это происходить на глазах у таких обыденных свидетелей — линолеума, календаря с мельницей, ручьем и пожелтевшими деревьями, давно знакомых сковородок и кастрюль?

— А ну, вытяни руку!

Нет, все эти вещи ей не помогут — ни одна из них ее не спасет.

Они становятся никакими, бесполезными, даже враждебными. Горшки умеют злобно ухмыляться, узоры линолеума — скалиться, предательство — оборотная сторона ежедневной рутины.

После первой или второй вспышки боли Роза отскакивает назад. Она не намерена терпеть. Она мечется по комнате, пытаясь добраться до дверей. Отец преграждает ей путь. Похоже, в ней нет ни грамма отваги, никакого стоицизма. Она бежит, кричит, умоляет. Отец преследует ее, хлеща ремнем при всякой возможности, потом бросает ремень и начинает действовать руками. Затрещина по одному уху, по другому. Голова мотается, у Розы звенит в ушах. Удар по лицу. Он впечатывает ее в стену и

снова бьет по лицу. Трясет, колотит о стену, пинает по ногам. Она ничего не соображает, потеряла рассудок, визжит. Я больше не буду! Прости, пожалуйста, я больше не буду!

Фло тоже кричит. Хватит, хватит!

Он швыряет Розу на пол. А может, она сама падает на пол. Он снова пинает ее по ногам. Она уже забыла все слова и только издает звуки, от которых Фло восклицает: — Ох, что, если кто-нибудь услышит?

Этот крик — знак униженности, поражения, капитуляции. По-видимому, Роза должна сыграть свою роль так же отвратительно преувеличенно, как отец играет свою. Она изображает жертву так самозабвенно, что возбуждает у отца — возможно, она на это и надеется — окончательное, тошнотное презрение.

Похоже, они готовы любые усилия затратить, дойти до чего угодно.

Не совсем. Отец ни разу не нанес Розе настоящих увечий, хотя по временам она и мечтает об этом. Он бьет открытой ладонью и пинает не в полную силу.

Вот он останавливается, тяжело дыша. Он подпускает Фло поближе, хватая Розу и с возгласом отвращения пихает ее в сторону Фло. Та перехватывает Розу, открывает дверь на лестницу и толкает Розу вверх по ступеням: — Ступай в свою комнату! Живо!

Роза бредет вверх по лестнице, шатаясь — позволяя себе шататься, позволяя себе падать на ступеньки. Она не хлопает дверью, потому что это

может снова навлечь гнев отца, да у нее и сил для этого нет. Она падает на кровать. Через дымоход слышно, как Фло хлюпает носом и упрекает отца, а он гневно парирует: ну и молчала бы тогда, раз не хотела, чтобы я ее наказывал, нечего было жаловаться. Фло говорит, что никогда не просила так колотить.

Они начинают препираться. Испуганный голос Фло крепнет, снова обретает уверенность. В этом споре они постепенно становятся прежними, обычными. Вот уже говорит только Фло: отец потерял интерес. Розе приходится умерить свои шумные рыдания, чтобы слышать разговор, и когда ей надоедает слушать и она хочет еще порыдать, то у нее не выходит. Она достигла спокойствия — особого спокойствия, в котором ярость воспринимается как полная и окончательная. В таком состоянии события и перспективы приобретают дивную простоту. Открывающиеся перед ней возможности, к счастью, предельно ясны. Она никогда не скажет ни слова отцу и Фло, будет смотреть на них исключительно с ненавистью, никогда их не простит. Она их накажет; она их прикончит. Окутанная этой последней решимостью и физической болью, она плывет в странном блаженстве — вне себя, вне всякой ответственности.

А что, если она сейчас умрет? А что, если она покончит с собой? А что, если она сбежит из дому? Любой из этих поступков будет оправданным. Нужно только выбрать что-то и выработать план действий. Она парит в этом состоянии чистого превосходства,

словно в милосердном дурмане наркотика.

Так бывает с наркотиком — чувствуешь себя в абсолютной безопасности, уверенный, что ты недостижим, и вдруг внезапно, без предупреждения, в следующий же миг осознаешь, что вся твоя защита бесповоротно разрушена, хоть и кажется целой. Вот и для Розы настает такой момент, когда она слышит шаги Фло на лестнице, — момент, вмещающий в себя как сиюминутный покой и свободу, так и совершенно четкую картину катастрофического развития событий начиная с сегодняшнего дня.

Фло входит в комнату Розы без стука, но чуть неуверенно, — видно, ей приходит в голову, что можно было бы и постучать. Фло несет баночку кольдкрема. Роза пользуется своим тактическим преимуществом: лежит, пока может, лицом вниз на кровати, не отвечая и вообще никак не показывая, что знает о присутствии Фло.

— Да ладно, — говорит Фло, которой явно не по себе. — Не так уж и больно, а? Вот, помажься, и все пройдет.

Она блефует. Она не знает точно, какие травмы нанесены Розе. Она снимает крышку с баночки. Роза слышит запах. Интимный, младенческий, унижительный. Она не собирается подпускать к себе Фло, у которой уже наготове в руке большая плюха крема. Но, сопротивляясь, Роза вынуждена шевелиться. Она поневоле брыкается и всячески теряет лицо, и Фло понимает, что никаких страшных повреждений у Розы нет.

— Ну хорошо, — говорит Фло. — Твоя взяла. Я поставлю банку тут, а ты сама намажешься, когда захочешь.

Чуть позже появится поднос. Фло поставит его у кровати, не сказав ни слова, и уйдет. На подносе — большой стакан шоколадного молока с сиропом «Вита-мальт», что продается в лавке. На дне стакана видны жирные потеки «Вита-мальта». Маленькие сэндвичи, аккуратные, манящие. Консервированный лосось высшего качества, самый красный, и много майонеза. Одна-две корзиночки с сахарно-масляной начинкой (их покупают упаковками в кондитерской), шоколадное печенье с мятной прослойкой. Это любимые Розины сэндвичи, любимые пирожные, любимое печенье. Оставленная наедине с лакомствами, она будет отворачиваться, не желая смотреть. Но ее, взбудораженную и несчастную, отвлечет от мыслей о самоубийстве и побеге запах лососины, предвкушение хрусткости шоколада, и она не выдержит соблазна и протянет руку — только провести пальцем по краю одного сэндвича (корка с хлеба срезана!), снять избыток начинки, ощутить вкус. Потом она решит съесть один, чтобы хватило духу отвергнуть остальные. Если съесть только один, это будет незаметно. Скоро, не в силах удержаться от морального падения, она прикончит все. Выпьет шоколадное молоко, съест корзиночки и печенье. Пальцем соберет остатки солодового сиропа со дна стакана, не переставая хлюпать носом от стыда. Слишком поздно.

Фло придет и заберет поднос. Она скажет что-нибудь вроде «Вижу, аппетит у тебя не пропал» или «Как шоколадное молоко, не мало сиропа?» — в зависимости от того, насколько виноватой себя чувствует. В любом случае стратегическое преимущество Розы будет потеряно. Роза поймет, что жизнь началась заново, что они снова соберутся всей семьей за столом и будут есть и слушать новости по радио. Завтра утром — может, даже и сегодня вечером. Хотя это кажется неправдоподобным и нелепым. Они будут испытывать замешательство — но относительно небольшое, если принять во внимание, как они себя вели. Их охватит странная истома, сродни апатии выздоравливающего, чем-то близкая к удовлетворению.

Как-то вечером после очередной такой сцены они сидели на кухне. Кажется, летом, — во всяком случае, было тепло, потому что отец заговорил о стариках, коротающих дни на лавочке перед магазином.

— Ты знаешь, о чем они сейчас говорят? — спросил отец, мотнув головой в сторону лавки, чтобы показать, кого имеет в виду, хотя, конечно, сейчас стариков там уже не было, они ушли домой.

— Старые козлы, — заметила Фло. — О чем?

В репликах отца и Фло звучала сердечность — не то чтобы фальшивая, но слегка подчеркнутая, преувеличенная по сравнению с обычным разговором в отсутствие гостей.

Отец тогда сказал: старики где-то подцепили идею, что эта штука в западной части неба, похожая на

звезду, — первая, что появляется после захода солнца, — на самом деле воздушный корабль, зависший над городом Бэй-Сити в штате Мичиган, на том берегу озера Гурон. Американское изобретение — американцы повесили его в небе, чтобы оно соперничало с небесными телами. Старики единодушно верили в эту теорию — она укладывалась в их представление о мире. По их мнению, эта штука освещалась светом десяти тысяч электрических лампочек. Отец Розы безжалостно спорил с ними, объяснял, что это планета Венера, которая висела в небе задолго до изобретения электрических лампочек. Старики никогда не слышали о планете Венера.

— Какие невежды! — сказала Фло.

Роза тут же поняла — и знала, что отец тоже понял, — что и Фло никогда не слыхала о планете Венера. Чтобы отвлечь их, а может, чтобы косвенно извиниться, Фло поставила чашку на стол и вытянулась в воздухе меж двух стульев: голова на том, на котором Фло только что сидела, а ступни опираются о другой. Непонятно, когда она при этом успела целомудренно зажать подол юбки меж колен. Тело было прямое как доска. Брайан в восторге закричал: — Сделай трюк! Сделай трюк!

Фло была очень гибкая и очень сильная. В минуты особой радости или если нужно было отвлечь всеобщее внимание, она исполняла акробатические трюки.

Семья молча смотрела, как Фло поворачивается, не помогая себе руками, — только отталкивается

сильными ногами, упираясь ступнями. Потом все торжественно закричали, хотя видели этот трюк и раньше.

Когда Фло поворачивалась, Розе представился тот воздушный корабль — прозрачный продолговатый пузырь, унизанный цепочками алмазных огней, плывущий в полном чудес американском небе.

— Планета Венера! — воскликнул отец, аплодируя Фло. — Десять тысяч электрических лампочек!

В комнате царила атмосфера снисходительности, расслабленности, даже с привкусом счастья.

Годы спустя, много лет спустя, воскресным утром Роза включила радио. К тому времени она жила уже одна, в Торонто.

— Ну что вам сказать! Тогда совсем другая жизнь была. Совсем. Тогда всё были лошади. Лошади и телеги. Гонки устраивали на двуколках, вдоль главной улицы, по субботам, вечером.

— Совсем как гонки колесниц, — говорит голос ведущего или интервьюера, гладкий, подбадривающий.

— Этих я сроду не видал.

— Нет, сэр, я говорю про древних римлян. Задолго до вас.

— Да уж, должно быть, еще до меня. Мне сто два года, вот как.

— Замечательный возраст, сэр.

И впрямь.

Роза оставила радио включенным, пока возилась на кухне, варя себе кофе. Ей показалось, что это

интервью ненастоящее, что это сцена из какой-то пьесы, и даже захотелось узнать, что за пьеса. Так воинственно и тщеславно звучал голос старика, так безнадежно и встревоженно — под верхним слоем натренированной мягкости и спокойствия — голос интервьюера. Как будто все рассчитано на то, чтобы радиослушатели представили себе журналиста, который подносит микрофон беззубому, гордому собой столетнему старцу и при этом думает: «Что я здесь вообще делаю и о чем мне с ним говорить дальше?»

— Должно быть, это было опасно.

— Что опасно?

— Гонки двуколок.

— И еще как! Опасно. Лошадь, бывало, понесет. Несчастных случаев было много. Бывало, парня потащит по гравию и все лицо ему раскровянит. Если б насмерть убило, крику было бы куда меньше.

Пауза.

— Были лошади с высоким шагом. А некоторым приходилось горчицу под хвост совать. Некоторые не желали выступать, хоть ты чего. Такие уж они, лошади-то. Одни будут работать, пока не свалятся, а другие тебе не помогут и хер из котелка со смальцем вытащить. Хе-хе.

Значит, интервью все-таки настоящее. Иначе эти слова не выпустили бы в эфир, не рискнули бы. Но если старик такое сказал, то это ничего. Местный колорит. В устах столетнего старца все звучит невинно и очаровательно.

— Несчастные случаи тогда все время были. На фабрике. На литейном. Защиты всякие не придумали еще.

— Наверно, забастовок тогда было меньше? И профсоюзов тоже?

— Сейчас народ обленился. Мы тогда работали и рады были, что работа есть. Рады были, что работа есть.

— Телевизоров у вас тогда не было.

— Не-а, не было тиливизеров. Радива тоже не было. И кина.

— Так что вы сами себя развлекали как могли.

— Точно, так оно и было.

— Должно быть, вы приобретали уникальный опыт, как не суждено нынешней молодежи.

— Опыт...

— А вы не могли бы нам рассказать что-нибудь об этом?

— Я однажды сурчатину ел. Зимой как-то. Вы бы такое в рот не взяли. Хе...

Воцарилась благоговейная пауза, а потом интервьюер сказал: — Вы слышали интервью, которое мы взяли у мистера Уилфреда Неттлтона из города Хэнрэтти в провинции Онтарио, в день, когда ему исполнилось сто два года, за две недели до его кончины прошлой весной. История ожила у нас на глазах. Интервью с мистером Неттлтоном проводилось в ваванашском доме престарелых.

Котелок Неттлтон.

Наемный бандит стал столетним старцем. Его

фотографировали в день рождения, над ним суетились сиделки, наверняка его поцеловала девушка-репортер. Хлопки фотовспышек. Магнитофон впитывает звуки его голоса. Старейший житель. Старейший бандит. История оживает у нас на глазах.

Роза смотрела из окна кухни на замерзшее озеро, и ей безумно хотелось кому-нибудь рассказать. Вот Фло с удовольствием послушала бы. Розе представилось, как Фло восклицает: «Подумать только!» — и по тону ясно, что ее худшие предчувствия подтвердились. Но Фло сейчас была там же, где в прошлом году умер Котелок Неттлтон, и поговорить с ней не удалось бы никому. Фло была там и во время записи интервью, хотя, конечно, не слышала его и даже не знала о нем. Когда Роза поместила Фло в дом престарелых — года за два до того, — Фло перестала разговаривать. Она ушла в себя и большую часть времени проводила забившись в угол койки — лицо у нее было хитрое и сварливое, и она не отвечала тем, кто пытался с ней говорить, хотя время от времени и давала выход чувствам, кусая сиделок.

¹ Шекспир У. Буря. Акт IV, сц. 1. Перев. М. Кузмина.

² Здесь и далее, если не указано иное, перевод стихов выполнен Д. Никоновой.

³ Героиня процитированной выше одноименной шотландской баллады, известной с XVII в.

Привилегия

Многие знакомые Розы любили сожалеть вслух о том, что не родились бедняками. Так что Роза, пользуясь возможностью побыть в центре внимания, пересказывала им всякие ужасные случаи и живописные детали нищеты из своего детства. Туалет для мальчиков и туалет для девочек. Старый мистер Бернс у себя в туалете. Коротышка Макгилл и Фрэнни Макгилл в предбаннике туалета для мальчиков. Роза не старалась нарочно развивать тему отхожих мест и сама была удивлена тем, как часто они всплывали в ее воспоминаниях. Она знала, что маленькие, стоящие на отшибе домики — потемневшие или, наоборот, ярко раскрашенные — должны по идее вызывать смех; и действительно, сортирная тема занимала большое место в деревенском юморе. Но для самой Розы туалеты были местами чудовищного стыда и позорных деяний.

Туалет для мальчиков и туалет для девочек были оборудованы закрытыми с боков предбанниками — это позволяло обойтись без дверей. Все равно снег задувало внутрь через щели меж досками и через глазки от выпавших сучков, которые использовались для подглядывания. Многие посетители туалета будто намеренно пренебрегали дырой. В кучах снега, покрытых сверху корочкой льда там, где снег подтаял, а потом опять замерз, лежали, словно под стеклом в музее, другие кучки — группами или одинокие, черные, как уголь, ярко-желтые, как горчица, и всех

промежуточных цветов. У Розы при виде этого все внутри переворачивалось; ею овладевало отчаяние. Она мешкала в дверном проеме, не могла себя пересилить и решала подождать. Раза два-три она в результате обмочилась по дороге домой, от школы до лавки, хоть там и было недалеко. Фло всячески выражала свое омерзение.

— Маленький конфуз! Маленький конфуз! — громко распевала она, издеваясь над Розой. — По дороге приключился маленький конфуз!

Фло, впрочем, и радовалась тоже — это было заметно; она любила, когда кто-нибудь попадал в унижительное положение, когда природа брала свое. Фло была из тех, кто во всеуслышание рассказывает о тайнах, раскопанных в корзине для грязного белья. Роза умирала от стыда, но так и не объяснила, в чем дело. Почему? Наверно, боялась, что Фло явится в школу с лопатой и ведром и примется убирать отхожее место, при этом чехвостя всех подряд.

Роза верила в незыблемость школьного миропорядка, в то, что тамошние правила непостижимы для Фло, тамошняя дикость ни с чем не соизмерима. Понятия чистоты и справедливости казались теперь Розе невинными заблуждениями эпохи младенчества. Она уже строила в душе первый склад для вещей, о которых не сможет рассказать никому и никогда.

Например, она ни за что не могла бы рассказать про мистера Бернса. Вскоре после начала школьных занятий — и еще до того, как Роза поняла, что сейчас

увидит, — она уже бежала вместе с другими девочками вдоль школьного забора, через заросли конского щавеля и золотарника, и пряталась за сортиром мистера Бернса — задняя стена сортира смотрела на школьный двор. Старый мистер Бернс — полуслепой, вислопузый, неопрятный и полный боевого духа — выходил на задний двор своего дома, разговаривая сам с собой, распевая и сбивая высокие сорняки тростью. Он заходил в туалет, и после нескольких секунд натужной тишины снова слышался его голос: Вот вдалеке зеленый холм

За городской стеной,
На том холме Иисус казнен,
Чтоб нас спасти с тобой.

Пение мистера Бернса звучало не благоговейно, а задорно, словно он даже сейчас нарывался на драку. Местные жители так в основном и выражали свое религиозное чувство — в драках. Одни были католики, другие — протестанты-фундаменталисты, и каждая сторона считала, что обязана отстаивать свою веру кулаками. Многие протестанты когда-то были — или их предки когда-то были — англиканами или пресвитерианцами. Но, обнищав, уже не могли ходить в эти церкви, совратились с пути и примкнули к Армии спасения или пятидесятникам. Другие люди были полнейшими язычниками, пока не обрели истинную веру. Некоторые до сих пор оставались язычниками, но в драках вставали на сторону протестантов. Фло называла англикан и пресвитерианцев снобами, а остальных — сектантами-

трясунами. Католики же, по ее мнению, были готовы простить любой разврат и двуличие, только неси им денежки для пересылки папе римскому. Так что Розу в детстве не заставляли ходить ни в какую церковь.

Все девчонки присаживались на корточки у задней стены сортира мистера Бернса, чтобы поглядеть на ту часть его тела, что виднелась в дыре. Много лет Роза думала, что видела мошонку, хотя, поразмыслив, пришла к выводу, что это была всего лишь задница. Означенная часть тела была похожа на коровье вымя, только щетинистое — как коровий язык до того, как Фло его сварила. Роза тогда не стала есть язык, и когда сказала Брайану, что это такое, он тоже не стал есть. Фло разозлилась и пообещала, что отныне они будут питаться вареной колбасой.

Девочки постарше не наклонялись смотреть, но стояли рядом, издавая тошнотные звуки. Другие, младшие девочки вскакивали и становились рядом со старшими, старательно подражая им, но Роза продолжала сидеть на корточках в изумлении и задумчивости. Ей хотелось бы подольше по размыслить над увиденным, но мистер Бернс встал и вышел из сортира, застегиваясь и распевая. Девчонки подкрались поближе к забору, чтобы окликнуть: — Мистер Бернс! Доброе утро, мистер Бернс! Мистер Бернс — вислые яйца!

Он с ревом бросился к забору, колотя палкой по воздуху, словно кур прогонял.

Младшие и старшие, мальчишки и девчонки, абсолютно все — кроме, конечно, учительницы,

которая на перемене запирала дверь школы и оставалась внутри, сдерживаясь, как Роза, до дому, рискуя потерять лицо и перенося муки, — абсолютно все собрались, чтобы заглянуть в предбанник туалета для мальчиков, когда прошел слух: Коротышка Макгилл трахает Фрэнни Макгилл!

Брат и сестра.

Вот так представление! С участием родственников!

Так это называла Фло: представлять. Фло рассказывала, что в глухих деревнях — в фермах на холмах, откуда она сама была родом, — люди сходят с ума, едят вареное сено и «устраивают представления» с кровными родственниками. Пока Роза не поняла, что имеется в виду, она воображала импровизированную шаткую сцену в каком-нибудь сарае, на которую по очереди поднимаются родственники и поют дурацкие песенки или декламируют стихи. «Что за представление!» — с отвращением говорила Фло, выдыхая дым. Она имела в виду не какой-то определенный поступок, но все сразу — все, что относилось к этой области, в прошлом, настоящем и будущем, по всему миру. Способы, которыми люди себя развлекают, как и стремление людей казаться не теми, кто они есть, не переставали ее удивлять.

Чья это была затея, с Фрэнни и Коротышкой? Наверно, старшие мальчики подзадорили Коротышку, а может, он хвалился и его подначили. Ясно было одно: это не Фрэнни придумала. Ее догнали и притащили, заманили в ловушку. Впрочем, «догонали»

— не совсем верное слово: вряд ли она убегала, поскольку не верила, что ей на самом деле удастся убежать. Но она не хотела, ее пришлось тащить силой, толкать на землю, туда, где ей следовало быть по замыслу. Знала ли она, что ее ждет? Во всяком случае, точно знала, что от других людей ничего приятного ждать не приходится.

Фрэнни Макгилл в детстве треснул о стену пьяный отец. Так говорила Фло. По другой версии, Фрэнни, пьяная, свалилась с саней и ее лягнула лошадь. Как бы там ни было, ее всю перекорежило. Сильней всего досталось лицу. Нос был кривой, и каждый вдох превращался в долгое унылое сопение. Зубы словно сбились в кучку, налезая один на другой. Поэтому рот не закрывался, и Фрэнни не могла удержать слюни. Бледная, костлявая, шаркающая ногами, пугливая, как старуха, Фрэнни навеки застряла во втором или третьем классе — она кое-как научилась читать и писать, но ее редко просили это делать. Вероятно, она не была дурочкой, какой ее считали все, а просто была растеряна, оглушена постоянными атаками. И вопреки всему она сохранила способность надеяться. Она ходила хвостом за любым, кто не бил и не обзывал ее; пыталась совать этому человеку огрызки карандашей и бугристые комки жеваной жвачки, отлепленные со стульев. Ее приходилось отваживать со всей возможной жесткостью и угрожающе кривиться, встретив ее взгляд. Пошла вон, Фрэнни. Пошла отсюда, а то я тебя тресну. Честное слово, тресну.

После того случая Коротышка так и будет

пользоваться ею дальше, и другие тоже. Она забеременеет, ее увезут, она вернется и снова забеременеет, ее увезут, она вернется, снова забеременеет, и ее снова увезут. По городу пойдут разговоры о том, что неплохо было бы ее стерилизовать, а деньги пускай соберет «Клуб львов»⁴. И разговоры о том, что неплохо было бы ее запереть куда-нибудь. Но тут Фрэнни вдруг умрет от пневмонии, радикально решив вопрос. Каждый раз, обнаружив в книге или фильме образ полоумной святой-блудницы, Роза вспоминала Фрэнни. Мужчины — создатели книг и фильмов, — кажется, питали слабость к этой фигуре, хотя, как подметила Роза, в их варианте она оказывалась гораздо опрятней. Роза решила, что это обман — то, что они оставили за кадром сопение, слюни, зубы; они упустили из виду уколы отвращения, подстегивающие похоть, и спешили воспользоваться идеей обволакивающей утешительной пустоты, неразборчивого всепрятия.

Впрочем, нельзя сказать, что Фрэнни ответила Коротышке всепрятием. Она вопила — вопли выходили раскатистые, гнусавые из-за сложностей с дыханием. Она все время лягала воздух одной ногой. Ботинок с нее то ли слетел, то ли Фрэнни сегодня вообще пришла без обуви. Наружу торчала белая нога с босой ступней и грязными пальцами — она выглядела слишком нормальной, слишком исполненной самоуважения, чтобы принадлежать Фрэнни Макгилл. Вся остальная Фрэнни была Розе не видна. Маленькую Розу выпихнули на дальний край

толпы. В первом ряду стояли большие мальчишки, вдохновенно вопя. Большие девочки, хихикая, сгрудились у них за спиной. Роза была заинтересована, но не встревожена. То, что делали с Фрэнни, не имело всеобщего значения и совсем никак не относилось к остальным. Это было лишь продолжение полагающихся Фрэнни издевательств.

Годы спустя истории Розы очень сильно действовали на ее знакомых. Ей приходилось давать честное слово, что это все правда, что она не преувеличивает. Она в самом деле рассказывала правду, но эффект выходил несколько однобоким. Казалось, что она ходила вместо школы в какой-то чудовищный притон, где ничему не учили. Казалось, что она обязательно была из-за этого несчастна. Но это не так. Роза научилась многому. Она научилась, как вести себя в масштабных драках, которые раза два-три в год раскалывали школу на воюющие отряды. Поначалу она старалась сохранять нейтралитет, и это была большая ошибка, так как в итоге на нее могли ополчиться обе стороны. Правильным ходом было примкнуть к людям, которые живут рядом с тобой, и тем несколько снизить уровень опасности, которой подвергаешься на пути в школу и из школы. Роза так и не поняла, из-за чего дрались, и к тому же ей недоставало бойцовского инстинкта — она не понимала, зачем вообще нужно драться. Ее всегда заставлял врасплох удар снежком, камнем или куском черепицы, внезапно прилетающим в спину. Она знала, что никогда не победит, никогда не добьется

постоянного, надежного положения в школьном мире, даже если такое в принципе возможно. Но она не была несчастна, если не считать одной-единственной проблемы — невозможности пользоваться туалетом. Когда учишься выживать — пускай для этого требуется осторожность на грани трусости, пускай это связано с потрясениями и зловещими предчувствиями, — несчастной быть некогда. Слишком уж это занятие захватывает.

Роза научилась отгонять Фрэнни. Роза научилась не подходить к школьному подвалу, где не осталось ни одного целого окна, а внутри было темно и капало, как в пещере; научилась избегать темного провала под лестницей и узких проходов меж поленниц; научилась не привлекать к себе внимания больших мальчишек, которые казались ей похожими на диких собак — быстрые, сильные, непредсказуемые, радостно атакующие.

Роза сделала одну ошибку в самом начале — потом она уже не стала бы ее повторять: она сказала Фло правду, вместо того чтобы соврать, когда один большой мальчик — один из Морэев — подставил ей ножку и облапил ее на пожарной лестнице и при этом выдрал ей рукав плаща из проймы. Фло явилась в школу, чтобы устроить тарарам (по ее собственному выражению), и выслушала свидетелей, которые в один голос клялись, что Роза сама порвала плащ, зацепившись о гвоздь. В Западном Хэнрэтти взрослые не приходили в школу. Матери всегда вставляли на сторону своих детей в драках, перевешивались через

калитку и осыпали противника ругательствами; некоторые даже сами ввязывались в потасовку, драли врага за волосы и швырялись черепицей. Они повсюду обзывали учительницу за глаза и, посылая детей на уроки, велели не спускать ей, если она будет «возникать». Но они никогда не поступили бы так, как Фло, их ноги не бывало на школьном дворе, они не стали бы разбираться с жалобой на таком высоком уровне. Они ни за что не поверили бы, как верила Фло, что агрессоры признаются, что их выдадут на расправу, что добиться справедливости можно, не только испортив втайне морзевский плащ в раздевалке, — что правосудие может прийти в какой-то иной форме. Роза впервые увидела, как Фло ошибается, как она взяла на себя непосильную задачу.

Фло сказала, что учительница не знает своего дела.

Учительница как раз очень хорошо знала свое дело. Она запирала дверь на перемене, предоставляя событиям происходить снаружи. Она никогда не пыталась выгнать старших мальчиков из подвала или согнать их с пожарной лестницы. Она заставляла их колоть лучину на растопку для школьной печи и приносить воду, чтобы наполнить ведро, из которого все пили. В остальном мальчишки могли творить что хотят. Они не отказывались колоть дрова и качать воду насосом, хотя обожали окатывать кого попало ледяной водой и несколько раз чуть не пришибли друг друга топором. Старшие мальчишки ходили в школу только потому, что им некуда было себя приткнуть. Старшие девочки могли устроиться на работу — хотя

бы в прислуги пойти, — поэтому они оставались в школе, только если собирались держать вступительный экзамен в старшие классы, учиться дальше и потом, может быть, найти место в банке или универсальном магазине. Некоторым это удавалось. Из мест, подобных Западному Хэнрэтти, девочкам легче выбраться, чем мальчикам.

Старшим девочкам — кроме тех, которые готовились к экзамену, — учительница не позволяла сидеть без дела: она поручала им пасти младших — тетешкать, шлепать, исправлять орфографические ошибки в тетрадях. Им также негласно дозволялось изымать у младших в свою пользу все, что приглянется, включая пеналы, новые карандаши и дешевенькие пластмассовые побрякушки из тех, что бесплатно прилагались к коробке засахаренного попкорна. Происходящее в гардеробе — будь то кражи обедов, порча чужих пальто или насильственное стягивание трусов — учительницу не интересовало.

Она не была фанатиком своего дела, не страдала избытком воображения или сочувствия. Она каждый день ходила сюда пешком через мост из Хэнрэтти, где ее ждал дома больной муж. Она вернулась в школу уже в зрелом возрасте. Возможно, это была единственная работа, которую ей удалось найти. Ей приходилось преподавать, и она преподавала. Она никогда не украшала окна вырезанными из бумаги силуэтами, никогда не клеила ученикам в тетради золотые звезды. Она никогда не рисовала на доске

цветным мелом. У нее не было ни золотых звезд, ни цветного мела. Она не выказывала любви ни к какому из преподаваемых ею предметов и ни к кому из учеников. Если она о чем-то и мечтала, то, вероятно, о том, чтобы в один прекрасный день ей разрешили вернуться домой и больше никогда в жизни не видеть никого из этих детей, никогда не открывать учебник по правописанию.

Но все же она преподавала. И видимо, ей удавалось чему-то научить людей, желающих сдать вступительный экзамен, потому что кое-кто из них его сдавал. Она, вероятно, ставила себе цель научить всех проходящих через ее школу читать, писать и делать простейшие расчеты. Перила лестниц давно шатались, парты были оторваны от пола, печка дымила, труба держалась на проволоке, не было ни библиотечных книг, ни карт, и вечно не хватало мела; даже линейка была грязная и расщепленная с одного конца. Драки, секс и кражи были значительной частью школьной жизни. Тем не менее учеников знакомили с фактами и таблицами. Вопреки хаосу, неудобствам, непреодолимым препятствиям здесь в какой-то степени поддерживалась обычная школьная жизнь; предоставлялся шанс. Кому-то — освоить вычитание. Кому-то — научиться писать без ошибок.

Учительница нюхала табак. За всю жизнь Роза больше не встретила ни одного человека, нюхающего табак. Учительница насыпала немножко табаку на тыльную сторону ладони, подносила руку к лицу и чуть слышно фыркала, втягивая порошок в нос.

Откидывала голову, открывая незащищенную шею, и на миг в ее позе чудилось презрение, вызов. Если не считать этой черты, учительница была совершенно заурядна. Пухлая, серая, в поношенной одежде.

Фло сказала, что учительница, должно быть, затуманила себе мозги этими понюшками. Как наркоманка. Вот сигареты, они только нервную систему портят.

Одна-единственная вещь в школе была завораживающей, прекрасной. Изображения птиц. Роза не знала, кто именно забрался наверх и прибил картинки над доской — высоко, чтобы их нельзя было походя осквернить. Может быть, сама учительница — тогда это ее первая и последняя оптимистическая попытка. А может быть, кто-то другой, ее предшественник. Откуда взялись эти картинки, как попали сюда, если ни единого украшения, кроме них, в школе не было?

Дятел в красной шапочке; иволга; сойка; канадский гусь. Чистые, неблекнущие цвета. На фоне белых снегов, весенних ветвей в цвету, головокружительно синего летнего неба. В обычном классе эти картинки не поражали бы так. Но здесь они были ярки и красноречивы и так контрастировали со всем остальным, что казалось: они представляют не самих птиц, не снега и небеса, но некий иной мир, где невинность пребывает, знания изобилуют, а легкость на сердце — законное право. Там никто не крадет еду из сумок с обедами, не режет чужие плащи, не стягивает трусы с другого и не тыкает больно

твердым; там никого не трахают; и Фрэнни там тоже нет.

Во вступительном классе были три старшие девочки. Одну звали Донна, другую Кора, а третью Бернис. Эти трое и составляли вступительный класс; кроме них, в нем никого не было. Три королевы. Впрочем, точнее — королева и две принцессы. Так думала о них Роза. Они разгуливали по школьному двору, держась за руки или обняв друг друга за талию. Кора шла в середине. Она была самая высокая. Донна и Бернис шли, склоняясь к ней, сопровождая ее.

Роза любила именно Кору.

Кора жила с бабушкой и дедушкой. Бабушка ходила каждый день по мосту в Хэнрэтти, где убиралась и гладила чужое белье. Дедушка был золотарем. Это значит, что он ходил по городу и чистил выгребные ямы. Такая у него была работа.

Прежде чем накопить денег на оборудование настоящей уборной, Фло купила туалет с химической стерилизацией и поставила его в угол дровяного чулана. Лучше, чем бегать в отхожее место на улицу, особенно зимой. Корин дедушка этого не одобрил. Он сказал Фло: — Многие обзавелись этой химикалией, и многие потом об этом пожалели.

Он произносил это слово «химикалия».

Кора была незаконнорожденной. Ее мать то ли работала, то ли была замужем где-то в другом городе. Возможно, что она работала горничной, потому что все время присылала домой обноски. У Кору было много нарядов. Она приходила в школу в желтовато-

коричневом атласном платье, переливающимся на бедрах; в ярко-синем бархатном, с болтающейся на плече розой из той же материи; в тускло-розовом креповом с бахромой. Эти платья были рассчитаны на женщину намного старше (хотя Роза так не думала), но подходили Коре по размеру. Она была высокая, плотная, со зрелой фигурой. Иногда она укладывала волосы валиком на макушке, опуская его с одной стороны на лоб. Кора, Донна и Бернис часто делали себе одну и ту же, взрослую, прическу, густо красили губы, пудрились толстым слоем, так что пудра спекалась, как слой муки. У Кору были крупные черты лица. Сальный лоб, ленивые веки брюнетки, зрелое и праздное самодовольство, что скоро зачерствеет и оформится во взрослый нрав. Но сейчас, вышагивая по школьному двору под ручку со спутницами, шепчась с ними о чем-то серьезном, Кора была великолепна. На самом деле из них троих ближе всех к миловидности подходила Донна, с ее бледным овальным личиком и кудрявыми светлыми волосами. Кора, как и две ее подруги, не тратила времени на мальчишек-соучеников. Девушки ждали, пока у них не появятся настоящие кавалеры — а может, уже старались этими кавалерами обзавестись. Мальчишки иногда вопили им что-то от двери подвала, выкрикивали мечтательные непристойности, и Кора тогда поворачивалась и кричала в ответ: — Для люльки стар, для кровати мал!

Роза понятия не имела, что это означает, но ее переполняло восхищение — разворотом бедер Кору,

ее жестоким и дразнящим и в то же время ленивым и безмятежным голосом, шикарным видом. Оставшись одна, Роза разыгрывала всю сцену в лицах — крики мальчишек и прочее. Сама она изображала Кору — поворачивалась, как тогда Кора, к воображаемым преследователям и бросала реплику с таким же вызывающим презрением: — Для люльки стар, для кровати мал!

Роза расхаживала по заднему двору, воображая, что это у нее на бедрах переливается плотный атлас, ее собственные волосы закручены валиком, ее губы ярко накрашены. Она хотела, когда вырастет, стать точно такой, как Кора. Она не хотела ждать, пока вырастет. Она желала быть Корой прямо сейчас.

Кора носила в школу туфли на высоком каблуке. Она не отличалась легкой походкой. Когда она проходила по классу в очередном роскошном наряде, заметно дрожал пол и отчетливо дребезжали окна. Запах Кору тоже был слышен издали. Запах талька и косметики, теплой смуглой кожи и волос.

Три девушки сидели на самом верху пожарной лестницы в первый теплый весенний день. Они красили ногти. У лака был запах бананов с острой и странной химической ноткой. Роза хотела подняться по пожарной лестнице в школу, как обычно делала, чтобы избежать опасностей, ежедневно подстерегающих у главного входа. Но, увидев трех девушек, она повернула назад — она не смела ожидать, что они потеснятся и пропустят ее.

Кора окликнула ее сверху:

— Можешь подняться, если хочешь. Поднимайся!
Кора дразнила ее, манила, как подманивают щенка.

— Хочешь, мы тебе ногти покрасим?

— Тогда они все захотят, — сказала другая девушка, Бернис, которой, как выяснилось, принадлежал лак.

— А мы всем не будем красить, — сказала Кора.
— Мы только ей. Как тебя зовут? Роза? Мы только Розе покрасим. Давай поднимайся, миленькая.

Она заставила Розу вытянуть руку. Роза с ужасом поняла, до чего пятнистая у нее рука, до чего загрубелая и грязная. И еще холодная и дрожащая. Маленький омерзительный предмет. Отбрось Кора эту руку с отвращением, Роза не удивилась бы.

— Растопырь пальцы. Вот так. Расслабься. Гляди, как у тебя рука трясется! Я не кусаюсь. Думаешь, я кусаюсь? Держи руку неподвижно, вот молодец. Ты же не хочешь, чтобы лак лег неровно, а?

Она окунула кисточку во флакончик с лаком. Цвет был насыщенный, красный, как садовая малина. Роза упивалась запахом. У самой Кору пальцы были большие, розовые, теплые. И не дрожали.

— Правда, красиво? Смотри, какие у тебя сейчас будут красивые ногти.

Кора накладывала лак по сложной, ныне забытой моде тех времен — оставляя лунку и свободный край ногтя непокрытыми.

— Видишь, он розовый, подходит к твоему имени. Роза — очень красивое имя. Оно мне нравится больше, чем Кора. Я просто ненавижу имя Кора. Что

это у тебя пальцы замерзли в такой теплый день? Правда, они ужасно холодные по сравнению с моими?

Она кокетничала, повинуюсь собственной прихоти — как все девушки этого возраста. Они пробуют чары на чем угодно — на кошках, на собаках, даже на своем лице в зеркале. Розе не по силам была такая нежданная милость, поэтому ей никак не удавалось насладиться моментом. Она была слаба, ослеплена, в ужасе.

С этого дня Роза впала в одержимость. Она тратила все свое время на попытки ходить и говорить, как Кора, повторяя каждое слово, произнесенное Корой когда-либо. Розу пленял каждый жест Кору, ее манера засовывать карандаш в густые жесткие волосы и то, как она иногда стонала в школе, выражая царственную скуку. То, как она облизывала палец и поправляла форму бровей. Роза облизывала собственный палец и приглаживала брови, мечтая, чтобы они были темными, а не выгоревшими на солнце и почти невидимыми.

Но подражания было недостаточно. Роза пошла дальше. Она воображала, как заболит и Кору почему-то позовут за ней ухаживать. Ночные объятия, поглаживания, укачивания. Она сочиняла истории об опасности и спасении, катастрофах и благодарности. Иногда она спасала Кору, иногда Кора ее. Потом — сплошное тепло, счастье, взаимные откровения.

«Очень красивое имя».

«Давай поднимайся, миленькая».

Любовь начинается, крепнет и наконец льется

потоком. Сексуальная любовь, еще не знающая, куда себя направить. Эта любовь должна быть в человеке с самого начала — как твердый белый мед в ведерке, ждущий, когда его растопят и он потечет. Ей недоставало определенной остроты, настойчивости; и еще по чистой случайности любимое существо оказалось того же пола. В остальном это была ровно такая же любовь, какую Роза испытывала во взрослом возрасте. Высшая точка прилива; неустрашимое безумие; неудержимый потоп.

Когда все кругом зацвело — сирень, яблони, боярышник вдоль дороги, — началась игра в похороны. Заводилами были старшие. Та, что изображала покойницу, — в эту игру играли только девочки — лежала, вытянувшись, на верхней площадке пожарной лестницы. Остальные поднимались медленной вереницей, распевая какой-нибудь гимн, и вываливали на тело вороха цветов. Они склонялись над телом, притворно рыдая (у некоторых получалось по-настоящему) и прощаясь с ним. В этом и заключалась вся игра. Предполагалось, что все девочки смогут по очереди побыть покойницами, но вышло по-другому. Старшие, избрав покойниц, мгновенно потеряли интерес к игре и уже не желали исполнять второстепенные роли на похоронах кого-то из младших. Те продолжали играть одни, но вскоре поняли, что игра утратила всю торжественность, весь блеск, и ушли одна за другой — только самые упорные отщепенцы остались, чтобы довести дело до конца. Среди них была и Роза. Она

цеплялась за игру, надеясь, что Кора пойдет в ее погребальной процессии, но Кора ее игнорировала.

Каждая покойница сама выбирала свой погребальный гимн. Кора выбрала «Как прекрасен, должно быть, рай». Она лежала под грудой цветов, сирени, в розовом креповом платье. Еще на ней были бусы и брошь, на которой зелеными блестками было выложено ее имя. На лице — толстый слой пудры. Крупинки пудры трепетали меж нежных волосков в углах рта. Ресницы дрожали. Лицо было строгое, сосредоточенное, неприступно мертвое. Печально распевая и опуская на тело свою охапку сирени, Роза была готова совершить какой-нибудь акт поклонения, но ничего не придумала. Она могла лишь жадно выхватывать детали, чтобы вспоминать потом. Цвет волос Кору. Сияние нижних прядей, заложенных за уши. Эти пряди были светло-карамельного цвета, светлее верхнего слоя волос. Руки — голые, смуглые, сплюснутые под собственной тяжестью, тяжелые руки женщины. На них лежит бахрома. Чем пахнет Кора на самом деле? Что заявляют миру, хмурясь или спокойно разглаживаясь, ее выщипанные брови? Потом, оставшись одна, Роза будет тщательно обдумывать каждую деталь, напрягаясь, чтобы ничего не забыть, все познать, оставить себе навсегда. Какой ей был с этого прок? Когда Роза думала о Коре, ей представлялось темное светящееся пятно, плавящийся центр с запахом и вкусом горелого шоколада, недостижимый для нее.

Что делать с любовью, когда она доходит до этой

стадии — до такого бессилия, безнадежности и безумной сосредоточенности? Нужно ее чем-нибудь пришибить.

Вскоре Роза сделала большую ошибку. Она украла у Фло из лавки горсть конфет, чтобы подарить Коре. Дурацкий, нелепый, детский поступок, причем Роза уже тогда это понимала. Ошибка заключалась не только в собственно краже, хотя и это была дурацкая идея, которую оказалось нелегко осуществить. Фло держала конфеты за прилавком, чуть повыше его, на наклонной полке, в открытых ящиках, вне досягаемости, но на виду у детей. Роза выждала удобный момент, залезла на табуретку и напихала в пакет все, что подвернулось под руку, — разноцветный кислый мармелад, «желейные бобы», лакричное ассорти, «кленовые почки», «куриные косточки». Сама она не съела ни одной конфетки. Чтобы переправить пакет в школу, она засунула его под юбку, а верх заправила за резинку трусов. На ходу она плотно прижимала руку к животу, чтобы пакет не съехал. «Что такое, у тебя живот болит?» — спросила Фло, но, к счастью, была слишком занята, чтобы расследовать подробней.

Роза спрятала пакетик конфет у себя в парте и стала ждать удобного момента, но он никак не подворачивался.

Даже если бы она купила конфеты, приобрела их законным путем, эта затея была бы ошибкой. В самом начале все было бы в порядке, но не сейчас. Сейчас Розе уже нужно было слишком много благодарности,

признания, но в то же время она была не способна их принять. У нее колотилось сердце, во рту появлялся странный медный привкус отчаяния и тоски, стоило Коре лишь пройти мимо — тяжелой походкой, в полном сознании собственной значительности, в облаке духов, согретых теплом кожи. Никакой жест не мог бы адекватно выразить чувства Розы, ей не суждено было получить удовлетворение, и она знала: то, что она задумала, — дурацкий, шутовской поступок, который навлечет на нее беду.

Она не смогла просто взять и вручить конфеты, удобный момент никак не наступал, и через несколько дней она решила подбросить пакет Коре в парту. Даже это оказалось трудно. Розе пришлось притвориться, что она забыла что-то в классе, и прибежать обратно в школу уже после четырех, зная, что потом придется снова выбегать на улицу, одной, мимо больших мальчишек, стоящих у двери в подвал.

В классе оказалась учительница — она надевала шляпу. Каждый день учительница надевала эту шляпу, старую, зеленую, с обрывком пера, чтобы перейти в ней через мост. Донна, приятельница Кору, стирала с доски. Роза попыталась засунуть пакетик в парту Кору. Что-то вывалилось. Учительница не обратила внимания, но Донна повернулась и завопила: — Эй, что ты там делаешь в парте Кору?

Роза уронила конфеты на сиденье парты и выбежала вон.

Чего она совсем не ожидала, так это того, что Кора придет в лавку к Фло и вернет конфеты. Но именно

так Кора и поступила. Не для того, чтобы доставить Розе неприятности, а просто для собственного удовольствия. Кора наслаждалась чувством собственной значимости и респектабельности, а также тем, что ведет взрослый диалог со взрослым человеком.

— Не знаю, зачем она хотела мне это дать, — сказала Кора (во всяком случае, так выходило по словам Фло).

Обезьяньи способности Фло ей в кои-то веки изменили: Розе показалось, что у нее вышло совсем не похоже на обычную речь Кору. Получилось какое-то жеманное нытье: — «Я решила, что лучше всего будет поставить вас в известность!»

Конфеты в любом случае уже не годились для еды. Они все растаяли и слиплись, так что Фло их выбросила.

Фло была потрясена до глубины души. Она сама так сказала. Разумеется, она считала кражу преступлением, но, кажется, понимала, что в данном случае кража — вторичное зло, менее важное.

— Что ты собиралась делать с этими конфетами? Зачем ты их ей дала? Ты что, влюбилась в нее или что?

Эти слова были задуманы как грубая шутка, оскорбление. Роза ответила «нет», потому что любовь у нее ассоциировалась с хеппи-эндом фильма, с поцелуями и свадьбой. Ее чувства пережили встряску и обнажились — и уже, хоть Роза этого еще и не знала, начали чуточку увядать и отмирать по краям.

Фло налетела на них, как иссушающий самум.

— Ну ты вообще... — сказала Фло. — Меня от тебя тошнит!

Фло не имела в виду, что у Розы в будущем проявятся склонности к однополю любви. Знай она о таких вещах, вся эта история показалась бы ей еще более смехотворной, нелепой, непостижимой, чем обычные людские поступки. Тошнило ее от мысли о любви. Добровольное порабощение, готовность к унижению, к самообману. Вот это ее поразило. Она прекрасно понимала всю опасность этого; видела изъян. Безрассудные надежды, готовность, потребность.

— Что в ней такого распрекрасного? — спросила Фло и тут же сама ответила: — Ничего! Она даже не хорошенькая. Она превратится в жирное чудовище. По всему видать. И еще у нее будут усы. Уже есть. Откуда она берет одежду? Надо думать, она считает, что эти тряпки ей идут.

Роза ничего не ответила, и Фло продолжала: у Кору нет отца, ее мать занимается бог знает чем, а кто ее дед? Золотарь!

Еще много лет Фло время от времени вспоминала Кору.

— Вон идет твой кумир! — говорила она, если Кора шла мимо лавки в школу (она поступила в старшие классы).

Роза притворялась, что понятия не имеет, о чем идет речь.

— Да знаешь ты ее! — не сдавалась Фло. — Ты

тогда пыталась дарить ей конфеты! Которые ты для нее украла! Я чуть со смеху не померла!

Розино притворство было отчасти искренним. Она помнила факты, но не чувства. Кора превратилась в крупную смуглую мрачную девицу, сгорбленную под тяжестью учебников для старших классов. Учебники ей не помогли, в школе она недоучилась. Она носила обычные блузки и темно-синюю юбку, которая ее полнила. Может быть, Кора тяжело перенесла потерю любимых платьев. Потом она уехала — нашла работу во время войны. Она поступила в авиацию и приходила домой в увольнение, затянутая в ужасную форму воздушных войск. Она вышла замуж за пилота.

Розу не слишком беспокоила эта потеря, это преобразование. Жизнь вообще, насколько знала Роза по опыту, была чередой удивительных поворотов. Роза лишь думала о том, насколько Фло отстала от жизни, когда та в очередной раз принималась вспоминать эту историю. От раза к разу образ Кору становился все ужасней — смуглявая, волосатая, жирная задавака. Лишь много лет спустя Роза поняла, что Фло — безуспешно — пыталась предостеречь, изменить ее.

Школа с приходом войны переродилась. Она как-то съежилась, утратила злую силу, анархический дух, прежний стиль. Необузданные мальчишки ушли в армию. Западный Хэнрэтти тоже изменился. Люди уезжали работать на военных заводах, и даже те, кто остался в городе, нашли работу, причем получали за нее столько, сколько никогда и не мечтали. В городе

воцарилась респектабельность — всеобщая, если не считать особо запущенных случаев. Крыши теперь перекрывали полностью, а не латали кое-где. Дома перекрашивали или обкладывали снаружи декоративным кирпичом. Жители города покупали холодильники и хвалились ими. Когда Роза думала о Западном Хэнрэтти до и во время войны, эти две эпохи представлялись ей абсолютно различными, словно в них использовалось совершенно разное освещение или словно эти эпохи были фильмами, снятыми на пленке, и пленку в каждом случае обрабатывали совершенно по-разному, так что в одном случае все выглядело четким, чинным, ограниченным и обычным, а в другом — темным, зернистым, хаотическим и вселяющим страх.

Само школьное здание отремонтировали. Вставили новые окна, привинтили парты к полу, неприличные слова замазали тускло-красной краской. Туалет для мальчиков и туалет для девочек снесли, а ямы засыпали. Правительство и школьный округ сочли необходимым оборудовать смывные туалеты в вычищенном для этого подвале.

К этому шли все. Мистер Бернс умер летом, и люди, которые купили его дом, оборудовали туалет внутри. Еще они поставили высокий забор из железной сетки, так что теперь со школьного двора нельзя было дотянуться до их сирени. Фло тоже собиралась сделать в доме туалет — она сказала, что почему бы и нет, сейчас, во время войны, дела у всех идут в гору.

Дедушка Кору ушел на покой, и после него золотарей в городе уже не было.

⁴ «Клуб львов» (Lions Clubs International) — международная не правительственная нерелигиозная организация, объединяющая бизнесменов, желающих вести благотворительную деятельность для улучшения жизни окружающих и мира в целом. Основные программы клуба направлены на сохранение зрения, слуха и речи у людей, борьбу с диабетом, помощь детям, развитие молодежных организаций и др.

Половинка грейпфрута

Роза выдержала вступительный экзамен, перешла через мост, попала в старшие классы.

В стене — четыре больших чистых окна. На потолке — новые люминесцентные лампы. Шел урок «Здоровья и гигиены» — новомодная идея. Класс был смешанный, мальчики с девочками вместе — после Нового года, когда начнут проходить «Семейную жизнь», их разделят. Учительница, молодая и полная оптимизма, была одета в броский красный костюм, расклешенный от бедра. Она бегала взад-вперед по рядам, спрашивая учеников, что они ели на завтрак, — проверяла, соблюдают ли они «Канадские правила здорового питания».

Разница между городом и деревней скоро стала очевидной.

- Жареную картошку.
- Хлеб с кукурузным сиропом.
- Кашу и чай.
- Хлеб и чай.
- Яичницу с ветчиной и чай.
- Пирог с изюмом.

Слышался смех, учительница делала грозное лицо (безуспешно). Она постепенно приближалась к «городской» части класса. Рассаживаясь по партам, ученики совершенно добровольно соблюдали что-то вроде сегрегации. Городские ели на завтрак тосты с мармеладом, яичницу с беконом, корнфлекс, даже вафли с сиропом. Кое-кто назвал апельсиновый сок.

Роза выбрала для себя место на самой задней парте городского ряда. Она в этом классе была единственной представительницей Западного Хэнрэтти. Ей безумно хотелось показать, что она из городских, вопреки месту рождения, — что она одна из этих едящих вафли и пьющих кофе, лощеных и хладнокровных обладателей «кухонных островков».

— Половинку грейпфрута, — бойко сказала она.

Грейпфрут еще никто не называл.

Правду сказать, Фло сочла бы грейпфрут на завтрак таким же излишеством, как, скажем, шампанское. Она даже в лавке не продавала грейпфрутов. Вообще свежих фруктов почти не продавала. Кроме редких пятнистых бананов и неаппетитных мелких апельсинов. Фло, как большинство деревенских жителей, верила, что любая сырая еда вредна для желудка. У Розы в семье тоже завтракали овсянкой и чаем. Летом овсянка сменялась воздушным рисом. Первое утро, когда в миску сыпался воздушный рис, невесомый, как пыльца, было таким же праздником, так же вселяло надежду, как первый день, когда можно пройти по твердой подсохшей дороге без калош, или первый день, когда можно оставить дверь нараспашку, — краткий блаженный отрезок времени между морозом и мухами.

Роза была очень довольна своей выдумкой про грейпфрут и голосом, которым она это сказала: смелым и громким, но естественным. Иногда у нее в школе полностью перехватывало голос, сердце

сжималось в подпрыгивающий мяч и застревало где-то в горле, и пропотевшая блузка липла к телу, несмотря на дезодорант-антиперспирант «Мам». Нервы у Розы были изодраны в клочки.

Несколько дней спустя она шла домой — через мост — и кто-то ее окликнул. Не по имени, но она знала, что эти слова предназначены для нее, так что она стала осторожней ступать по доскам и прислушалась. Голоса, кажется, звучали снизу, хотя в щели меж досками Роза не видела ничего, кроме текущей воды. Должно быть, кто-то спрятался у опор моста. Говорили нараспев, так тщательно изменив голос, что было даже непонятно, мальчишка это или девчонка.

— Половинка грейпфрута!

Еще много лет до Розы по временам доносились эти слова — внезапно, из проулка или затемненного окна. Она никогда не подавала виду, что слышит, но вскоре ей приходилось поднимать руку к лицу, вытирать пот с верхней губы. Когда строишь из себя что-то, приходится попотеть.

Она легко отделалась. Опозориться в школе было проще простого. Жизнь в старших классах, в резком чистом свете, изобиловала опасностями, и никто никогда ничего не забывал. Например, Роза могла оказаться девочкой, потерявшей прокладку. Эту прокладку, должно быть, кто-то из деревенских носил в кармане или за обложкой учебника, чтобы использовать посреди школьного дня. Так делали многие, кто жил далеко от школы. Так делала и сама

Роза. В туалете для девочек был автомат по продаже прокладок, но он всегда пустовал — сколько ни бросай в него монеток, он ничего не выплевывал. В школе ходили легенды о двух деревенских, которые сговорились в обед пойти к завхозу и потребовать, чтобы он загрузил автомат. Без толку.

— Которой из вас он нужен? — спросил завхоз.

Девчонки обратились в бегство. Потом они рассказывали, что в камерке завхоза под лестницей стоит засаленный старый диван и скелет кошки. Девчонки клялись, что это правда.

Прокладку, видимо, уронили на пол — скорее всего, в гардеробе. Потом кто-то протащил ее контрабандой в стеклянную витрину в актовом зале, где стояли завоеванные школой спортивные кубки. Там ее увидела вся школа. Оттого что прокладку таскали и складывали, она утратила свежесть, помялась, и легко было вообразить, что она приобрела такой вид от трения о тело. Вышел большой скандал. На утреннем собрании директор упомянул «омерзительный предмет». Он поклялся обнаружить, обличить, подвергнуть бичеванию и исключить из школы преступника, поместившего «предмет» на всеобщее обозрение. Все девочки в школе заявляли, что непричастны. Теории плодились. Роза боялась, что она первый кандидат в хозяйки прокладки, и испытала облегчение, когда виноватой объявили угрюмую крупную девочку из деревенских, по имени Мюриель Мейсон. Она ходила в школу в платье из грубой шерстяной ткани, и от нее пахло немытым телом.

Теперь мальчишки спрашивали ее в лицо или кричали ей вслед: — Эй, Мюриель, у тебя сегодня эти дела?

Однажды Роза услышала на лестнице, как одна старшая девочка говорит другой: «На месте Мюриель Мейсон я бы покончила с собой. Покончила бы с собой». Она говорила это не с жалостью, а с раздражением.

Каждый день, приходя домой, Роза рассказывала Фло, что сегодня было в школе. Фло как замороженная выслушала историю с прокладкой, и потом спрашивала, не открылось ли чего нового. О половинке грейпфрута Фло не узнала никогда. Роза рассказывала только о случаях, в которых проявила себя с лучшей стороны или была внешним наблюдателем. И Фло, и Роза придерживались того мнения, что ловушки и провалы — это для других. Стоило Розе покинуть место действия, перейти мост, превратиться в комментатора, и в ней происходила разительная перемена. Страх куда-то исчезал. Она говорила громко, скептически, расхаживала походкой «от бедра» в юбке из красно-желтой шотландки, даже хорохорилась.

Фло и Роза поменялись ролями. Теперь Роза несла домой истории, а Фло знала имена действующих лиц и жаждала услышать про них что-нибудь новенькое.

Конь Николсон, Дел Фэрбридж, Коротышка Честертон, Флоренс Доди, Ширли Пикеринг, Руби Каррузерс. Фло ежедневно ждала новостей об их деяниях. Она звала их клоунами.

— Ну-ка, что твои клоуны вытворили сегодня?

Фло и Роза сидели на кухне — при открытых дверях в магазин, чтобы увидеть, если придет покупатель, и на лестницу, чтобы услышать, если позовет отец. Отец лежал в постели. Фло варила кофе или приказывала Розе взять пару бутылочек кока-колы из холодильника.

Вот типичная история из тех, что Роза приносила домой.

Руби Каррузерс была шлюховатая девчонка, рыжая, с сильной косиной. (Одно из капитальных различий между нашими временами и тогдашними — во всяком случае, в деревне и местах вроде Западного Хэнрэтти — заключалось в том, что косоглазых не пытались лечить и кривым зубам предоставляли торчать, как им вздумается.) Руби Каррузерс работала у Брайантов, владельцев скобяной лавки: она убиралась у них за харчи и стерегла дом, когда они уезжали: они часто ездили то на скачки, то на хоккей, то во Флориду. Как-то раз, когда она была в доме Брайантов одна, трое мальчишек пришли ее навестить: Дел Фэрбридж, Конь Николсон и Коротышка Честертон.

— Чтобы посмотреть, не обломится ли им чего, — вставила Фло. Она взглянула на потолок и велела Розе говорить потише. Отец не терпел болтовни на эту тему.

Дел Фэрбридж был смазливый мальчик, полный сомнения и не очень умный. Он сказал, что зайдет в дом и запросто уболтает Руби, а еще попробует ее

уговорить, чтобы она дала всем троим. Чего он не знал, так это того, что Конь Николсон уже назначил Руби встречу под верандой.

— Там небось пауки, — сказала Фло. — Но им, наверно, все нипочем.

Пока Дел блуждал по темному дому, ища Руби, она была под верандой с Конем, а Коротышка — он был в курсе заговора — сидел на стреме на ступеньках веранды и, конечно, внимательно прислушивался к ритмичным ударам и тяжелому дыханию.

Потом Конь вышел и сказал, что пойдет в дом поищет Дела — не для того, чтобы просветить его, но чтобы посмотреть, как сработала их шутка. По мнению Коня, это был самый важный момент всего плана. Конь нашел Дела в буфетной, где тот пожирал маршмеллоу. Дел сказал, что Руби Каррузерс не стоит того, чтобы на нее поссать, что ему дают девки, которым она в подметки не годится, и что он пошел домой.

Коротышка тем временем заполз под веранду и занялся Руби.

— Господисусе! — воскликнула Фло.

Потом Конь вышел из дома на веранду, и Руби услышала топот над головой. Она спросила: «Кто это там?» — и Коротышка сказал: «Да это просто Конь Николсон». — «А ты тогда кто такой, черт тебя дери?» — закричала Руби.

Господисусе!

Роза не стала рассказывать, что было потом. Руби разозлилась, села на ступеньки веранды — вся

извозюканная в земле, даже в волосах земля, — и отказалась от сигарет и кексов (упаковку кексов Коротышка стащил в продуктовом магазине, где работал после школы, и к этому времени она, должно быть, вся раздавилась). Мальчишки стали дразнить Руби, спрашивая, в чем дело, и наконец она сказала: «Я считаю, я имею право знать, кому даю».

— Она рано или поздно получит по заслугам, — философски изрекла Фло.

Другие люди тоже так думали. В школе было принято, случайно прикоснувшись к вещам Руби — особенно к одежде для физкультуры или кроссовкам, — бежать мыть руки, чтобы не заразиться дурной болезнью.

У отца, лежащего наверху, начался очередной приступ кашля. Приступы были очень сильными, но домашние к ним привыкли. Фло встала и подошла к подножию лестницы. Она стояла там и слушала, пока приступ не кончился.

— Это самое лекарство ему ни вот на столько не помогает, — заметила она. — Этот доктор и пластырь наклепить толком не сможет.

Она до самого конца винила в болезни Розиного отца медицину, докторов.

— Если ты хоть что-то подобное позволишь себе с парнем, я тебя убью, — сказала она Розе. — Имей в виду.

Роза покраснела от ярости и пообещала, что раньше умрет.

— Надеюсь, — сказала Фло.

А вот типичная история из тех, что Фло рассказывала Розе.

Когда умерла мать, Фло было двенадцать лет и отец отдал ее в люди. В зажиточную фермерскую семью, чтобы она там работала за харчи и ходила в школу. Но ее редко посылали в школу. Слишком много было работы по хозяйству. Фермер и его жена были неласковы и жестки.

— Если собираешь яблоки с дерева и одно пропустишь, они заставляли вернуться и обобрать весь сад. То же самое, когда собирали камни в поле. Если пропустишь хоть один, заставляли заново пройти все поле.

Хозяйка дома была сестрой епископа. Она всегда ухаживала за кожей, втирала в нее медово-миндальный лосьон Хиндса. С людьми она разговаривала высокомерно, саркастично и считала, что вышла замуж за человека ниже себя по положению.

— Но она была собой красавица, — рассказывала Фло, — и подарила мне одну вещь. Пару длинных атласных перчаток, светло-коричневых. Очень красивые были. Я их очень берегла, но все-таки потеряла.

Фло понесла обед мужчинам на дальнее поле. Хозяин открыл обед и спросил: — А почему пирога нету?

— Кому нужен пирог, тот пускай сам его и печет, — ответила Фло, точно воспроизведя то, что говорила хозяйка, укладывая обед, — интонацию и слова.

Неудивительно, что ей удалось так похоже изобразить эту женщину, — она вечно передразнивала ее, даже репетировала перед зеркалом. Удивительно было то, что Фло на этот раз себя выдала.

Хозяин удивился, но понял, что Фло повторяет чужие слова. Он отконвоировал ее обратно домой и потребовал от жены ответа: действительно ли она такое сказала. Он был крупным мужчиной с чрезвычайно дурным характером. Нет, это неправда, ответила сестра епископа. Девчонка — врунья, она только и ждет, как бы посеять раздор. Муж не добился от жены толку, а она потом, застав Фло одну, отвесила ей такую затрещину, что Фло пролетела через всю комнату и врезалась головой в шкаф. Ей рассекло кожу на голове. Рана со временем зажила сама (врача сестра епископа вызывать не стала, не хотела, чтобы пошли разговоры), и шрам остался у Фло до сих пор.

В школу она после этого уже не возвращалась.

В неполных четырнадцать лет Фло сбежала. Она прибавила себе лет и устроилась работать на перчаточную фабрику в Хэнрэтти. Но сестра епископа выведала, где Фло, и стала время от времени туда являться. «Мы прощаем тебя, Фло. Ты от нас убежала, бросила нас, но для нас ты по-прежнему наша Фло, наш друг. Пожалуйста, навести нас, побудь с нами денек. Здесь, на фабрике, такой нездоровый воздух, особенно для молодой девушки. Тебе нужно на природу. Приходи нас повидать. Придешь? Обязательно приходи, прямо сегодня!»

И каждый раз, как Фло принимала приглашение,

оказывалось, что на этот день намечена грандиозная варка варенья, или закрутка большой партии домашних консервов, или поклейка обоев, или весенняя уборка, или обмолот. Природу Фло во время этих визитов видела только через забор, когда выплескивала грязную воду от мытья посуды. Фло никак не могла понять, зачем продолжает приходить или почему сразу не уходит. Путь был долгий, и разворачиваться и шлепать всю дорогу обратно в город как-то не хотелось. И вообще, эти люди были какие-то беспомощные, просто жалко их становилось. Сестра епископа убирала стеклянные банки на хранение грязными. Принесешь их из погреба, а они все мохнатые от плесени, на дне присохли гнилые куски фруктов. Ну как не пожалеть таких людей?

Так получилось, что, когда сестра епископа умирала в больнице, Фло тоже там лежала. Ей должны были делать операцию на желчном пузыре (это событие Роза смутно помнила). Сестра епископа узнала, что Фло в той же больнице, и выразила желание с ней повидаться. Поэтому Фло позволила перегрузить себя на кресло-каталку и отвезти по коридору в другую палату, и, только увидела женщину на больничной койке — когда-то высокую, с гладкой кожей, а теперь всю костлявую и пятнистую, одурманенную лекарствами, изъеденную раком, — у нее сразу страшно потекла кровь из носу. Это было первое и последнее кровотечение из носу в ее жизни. Красная кровь так и хлестала, рассказывала она, что твои гирлянды на праздник.

Медсестры так и забегали по коридору туда-сюда. Казалось, эту кровь ничто не остановит. Когда Фло подняла голову, струя хлестнула прямо на постель умирающей, а когда опустила, кровь потекла ручьями по полу. Наконец ее всю обложили пузырями со льдом. Она так и не попрощалась с женщиной, лежащей на койке.

— Я с ней так и не попрощалась.

— А ты хотела?

— Ну да. О да. Еще как хотела.

Каждый вечер Роза приносила домой груз учебников. Латынь, алгебра, древняя история, история Средних веков, французский, география. «Венецианский купец». «Повесть о двух городах». «Короткие поэмы и стихотворения». «Макбет». Фло относилась к учебникам с неприязнью, как и к любым другим книгам. Казалось, неприязнь усиливается пропорционально толщине и весу учебника, темному колориту и мрачности обложки, а также длине и сложности слов в названии. «Короткие поэмы» привели Фло в ярость, потому что, открыв книгу, она обнаружила поэму в пять страниц длиной.

Фло коверкала названия. Роза считала, что Фло делает это нарочно. «Ода» произносилась с ударением на последнем слоге, а «Улисс» заканчивался долгим шепелявым «ф», словно главный герой был пьян.

Отец Розы был вынужден спускаться со второго этажа дома на первый, чтобы ходить в уборную. Он повисал на перилах и двигался медленно, но без остановок. На нем был бурый шерстяной халат с

кисточками на поясе. Роза избегала смотреть отцу в глаза. Она боялась увидеть не столько следы болезни, сколько дурное мнение о ней самой, написанное у него на лице. Безусловно, это для отца она приносила книги. Для того, чтобы перед ним похвалиться. И он смотрел на ее книги, он в жизни не мог пройти мимо книги без того, чтобы не взять ее в руки и не посмотреть название. Но говорил только: «Смотри, а то станешь чересчур умная».

Роза считала, что отец так задабривает Фло на случай, если та слышит. Фло в это время была в лавке. Впрочем, Роза видела, что отец всегда говорит с расчетом на возможное присутствие Фло, где бы она в этот момент ни находилась. Он старался подлизаться к Фло, предвидеть ее возможные возражения. Повидимому, он для себя все решил. Безопасней иметь Фло в союзниках.

Роза ему никогда не возражала. Когда он говорил, она машинально склоняла голову, сжимала губы — общее выражение лица было скрытным, но без явного неуважения. Она была осмотрительна. Но отец видел ее насквозь: ее непреодолимое желание красоваться, надежды на то, что она добьется высокого положения, головокружительные амбиции. Он все видел, и Розе было стыдно уже оттого, что она рядом с ним. Она чувствовала, что каким-то образом опозорила отца — позорила его с момента своего рождения, а в будущем опозорит еще сильнее. Но она не раскаивалась. Она осознавала свое собственное упрямство и не намерена была меняться.